



МИШИ БАХШИЕВ

Устѣн
**Нарын-
Калы**



МИШИ БАХШИЕВ

Устен Нарын - Калы



РОМАН
РАССКАЗЫ

Дагестанское
книжное издательство
Махачкала 1979

Даг
Б.33
ББК:83.3Даг.

Бахшиев Миши

Б33 У стен Нарын-Калы. Роман, рассказы. Махачкала.
Даг. кн. изд-во, 1979.

Даг.
ББК:83.3.Даг.

204 с.

Миши Бахшиев (Михаил Юсупович Бахшиев, 1910—1972 гг.) — известный дагестанский писатель, основоположник татской прозы.

Миши Бахшиев писал на татском и русском языках, он автор многочисленных сборников стихов, пьес, повестей и рассказов. Признание читателей получили его прозаические сборники «Люди моей Родины», «Рассказы о моих земляках», «Простые люди», «Пусть узнают люди», сборники очерков «Зашумят сады», «В новом Куруше» и другие. В 1963 году на татском языке вышел в свет роман «Гроздь винограда», в 1967 году он был переведен на русский язык под названием «У стен Нарын-Калы».

В настоящую книгу вошли роман «У стен Нарын-Калы» (1967) и рассказы из сборников «Простые люди» (1958) и «Пусть узнают люди» (1970).

Книга издана к 70-летию со дня рождения писателя.

Б $\frac{70303-106}{M123(03) - 79}$ 29—80

© Дагкнигоиздат, 1979

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ



*Светлой памяти Асаила Бинаева —
верного сына Ленинской партии —
посвящаю.*

Автор

Глава первая

СВАДЕБНЫЙ ВЕЧЕР

Небольшой каменный дом утопал в зелени. Двор непоминал фруктовый сад. Посмотрев на деревья, пригнувшиеся под тяжестью плодов, Азиз вспомнил народную поговорку: «Тополь смотрит вверх, а яблоня вниз». Вот и сейчас она пришла ему на ум. «Да, это так,— думал старик, теребя длинную седую бороду,— ведь у тополя ветви легкие, на них нет плодов...» Азиз прошелся по двору, взглянул на горы, возвышающиеся над Дербентом, на чистое ярко-голубое небо и, подойдя к веранде, с восхищением произнес:

— До чего хороша у нас осень! Не правда ли, Баджи?

Баджи, старая женщина в темном просторном платье и синем шелковом платке-калагае, сидела на полу веранды, подле очага и месила тесто. Оторвавшись от своего занятия, она выпрямилась и вскинула на мужа глаза. Высокий, сухопарый Азиз стоял у веранды. За спиной его зеленела виноградная листва, образуя тенистую беседку.

— Ай, Азиз, Азиз,— с укоризной проговорила старуха,— о чем ты поешь? Чем восторгаешься на старости лет?

— Ну и бестолковая же ты, джан Баджи. Такой простой вещи не можешь понять. Гляжу я на гроздья винограда, на красные гранаты, на наш сад, во-он на те зеленые склоны Джалгана и думаю: осенью Дербент лучше любого курорта.

— А ты бывал на курорте?

Азиз обиделся.

— Да чтоб отец твой в могиле перевернулся! Разве ты забыла, как мы вместе ездили в Каякент, на горячие воды?

— Где комары нас чуть не съели?

— Когда это было,— презрительно хмыкнул старик.

— Теперь Каякент — настоящий курорт.

Старухе наскучило слушать мужа. Досадливо отмахнувшись от него, она вновь принялась за дело и, обращаясь к невестке, которая тут же на веранде прокручивала мясо через мясорубку, попросила:

— Хумор, дочка, подсуши мне рукава, мешают.

Азиз поднялся на веранду, сел за стол, поманил внучку, игравшую в саду, усадил к себе на колени и стал наблюдать за внуком. Шамай учил уроки на другом конце стола.

Косые лучи уходящего за горы солнца золотили желтеющие листья винограда и айвы. В этот тихий предвечерний час, когда спокойствие и радость разлиты повсюду, спокойно и радостно было и на душе старика. И он, играя с внучкой, запел старинную народную песню.

Где твои глаза, девушка?

— Зачем тебе мои глаза?

Если ты видел виноградники,

Точно на них похожи мои глаза.

Старуха неодобрительно глянула на мужа.

— Ай, Азиз, ты просто неразумное дитя.

— Почему это?

— Не видишь, Шамай уроки учит,— в ее голосе все больше сквозило раздражение.

— Да прости меня Шамай,— шутливо поклонившись и приложив руку к сердцу, проговорил старик. Но все же смолк и, ласково поглядывая на внука, погрузился в размышления. «Быстро летит время,— думал он.— Кажется, совсем недавно родился Шамай, а вот уже и в школу пошел... Да, летит время, летит. И жизнь уходит. И не спрашивает у нас...»

Старик вздохнул. Ему вспомнился 1941 год. Проводы единственного сына Рахмана на фронт. Извещение, что пропал без вести. Лицо жены, исцарапанное, исполованное струйками крови. Затем — неожиданное появление сына после того, как окончилась война. Свадьба, рождение внука. «А теперь, слава богу, сын уже сам отец. Закончил агрономическую школу, стал хорошим колхозным бригадиром. Недаром награжден орденом, избран партийным секретарем. И невестка, благодарение богу, всем удалась. Ученая, людей лечит».

Старик подошел к внуку, легонько тронул его за плечо и с оттенком торжественности произнес:

— Следуй примеру отца, Шамай. Учись. Понял?— и, отходя от Шама, снова запел все ту же песню.

— Азиз! Ты что, не слышишь, что тебе говорят! — вскипела Баджи.— Или ты окаменел?

Азиз рассмеялся, легко и беззлобно. Он прижал к себе вздрогнувшую внучку и успокаивающе проговорил:

— Ничего, детка, не пугайся. Дедей Баджи простит нас. Пойдем на улицу поиграем...

— Я вижу, Азиз,— не без колкости заметила Баджи,— ты вздумал обмануть старость. Ведешь себя, как ребенок.

Хумор, которая продолжала молотить мясо, тыльной стороной ладони поправила прядь волос, выбившуюся из-под косынки и нависшую на глаза.

— Не черни понапрасну кровь, мама, отец шутит.

— Шутит! — все больше распалялась Баджи.— Мешает Шамаю уроки учить.

Шамай приподнял голову и серьезно посмотрел на бабушку.

— Мне никто не мешает.

— Слышишь, Марал,— обратился старик к внучке,— все за нас. Одна бабушка против. Пойдем от нее.

Не успел Азиз скрыться в зелени сада, как старуха бросила ему вдогонку:

— Совсем извел меня. Чтоб бог извел его сестру!

Но Азиз этих слов уже не слышал. С внучкой на руках он шел междурядьями сада и, глядя на багряно-желтую листву, думал: «Как интересна жизнь растений! Цветут, идут в рост, украшают жизнь, желтеют, стареют, опадают. И снова уходят в землю. Так и человек — рождается, растет, украшает жизнь, создает себе подобных и умирает...»

— Дедушка, дай! — Марал протянула ручонку к спелой кисти винограда, нависшей над ее головой.

Азиз нагнулся, опустил ребенка наземь, выпрямился, сорвал виноградную гроздь и дал внучке:

— Ешь, детка. Ешь, милая.

Стукнула калитка. Навстречу шли несколько празднично одетых женщин. Впереди была молодая, черноглазая, в нарядном крепдешиновом платье, белом шелковом платке и лакированных туфлях. Замыкала шествие девочка лет восьми. В руках она несла маленький узелок.

«Клянусь могилой отца,— подумал Азиз,— хундегу пришли звать на свадьбу. Начался месяц свадеб. Интересно, чей сегодня черед?»

— Добрый вечер, лелей Азиз,— весело и звонко проговорила черноглазая хундегу.— Холей Баджи дома?

— Дома, дома. Заходите, дай бог вам счастья. А чья свадьба?

— Пошли бог счастье и твоим детям... Твой старый друг Ханука, сын Офтума, выдает замуж внуку. Дай бог и тебе увидеть радость от внуков своих.

— Спасибо, спасибо. Поздравляю и желаю счастливой жизни. Заходите в дом, добро пожаловать!

Хундегу направились к веранде. Когда Баджи увидела их, она оставила работу, поправила калагай и, схватившись за бок, заохала.

— О-о-о, стара я стала, стара,—и, искусственно улыбнувшись, прибавила: — Добро пожаловать.

— Дай бог такого дня и твоим внукам,— нараспев проговорила черноглазая хундегу и, обращаясь к Хумор, сказала:— Дай бог и твоему Шамаю осчастливить родителей женитьбой. А сегодня Гавид, дочь Хануки, друга твоего отца, приглашает вас всей семьей на свадьбу своей дочери.

— Желаю радости и счастья тебе, братьям твоим, племянникам твоим. Дай бог, чтобы и твои дети выросли и осчастливили тебя! — с той же торжественной распевающей проговорила Хумор.— Садитесь, девушки.

— Спасибо, недосуг. Надо еще многих известить.

Старуха пошла в комнату, вынесла пятирублевку, два яйца, несколько гранат и отдала девочке, что замыкала шествие.

— Приходите обязательно,— попросила старшая хундегу,— не то обидите Гавид.

— Если Рахман не задержится на собрании, обязательно придем,— пообещала Хумор.

— Успеете. Вы же знаете, наши дербентцы на свадьбы приходят поздно.

Ушли хундегу. Кончила прокручивать мясо Хумор. Кончила месить тесто Баджи. От плиты аппетитно потянуло тушеным луком.

— Бери мясо, бери лук, нарежай тесто, заворачивай дюшперу,— приказала старуха невестке.— Да поторапливайся. Надо успеть и детей покормить, и на свадьбу не опоздать.

— Может быть, мы вообще не пойдем. Ты же знаешь, Рахман не любит ходить на свадьбы.

— Да, Рахман не соблюдает наши адаты,— досадливо поморщилась Баджи.— А что хорошего? На свадьбу не ходи. На обрезание не ходи. Пасху не справляй...

Невестке стало смешно, но она сдержалась.

— Что за дело Рахману до чужих обрезаний, мама? Он и своему сыну обрезания не делал.

Старуха вспылила.

— Оставь, пожалуйста, Хумор. Это только вы с мужем не признаете народных адатов. И живете по каким-то своим законам. Как будто во всем Дербенте одни вы хорошие. Если вы партийные, так ребенку нельзя и обрезания сделать...

...Теперь уже Баджи невозможно было остановить. Она говорила без умолку. Хумор даже не пыталась перебивать ее, она знала — это бесполезно. Старуха ругала сына с невесткой не впервой. Хумор хорошо помнила, как разгорелся первый скандал между Баджи и Рахманом. Произошло это тогда, когда старуха попыталась сделать внуку обрезание. Тайком от сына она позвала раввина, собрала джамаат, приготовила угощение.

Рахман узнал обо всем этом в самую последнюю минуту от людей из своей бригады, приехавших рано поутру на виноградник. Не раздумывая, он вскочил в первую попавшуюся машину и помчался домой. Здесь уже было полно гостей. На столе лежал плачущий младенец, а раввин вынимал из кармана нож. Когда Рахман ворвался в комнату, раввин задавал традиционный вопрос:

— Кто отец ребенка?

— Я,— ответил Рахман, схватил мальчика, прижал к груди и, отведя глаза от раввина, глухо проговорил: — Можете идти!

Баджи с криком набросилась на сына:

— Я из-за тебя все здоровье потеряла: недоедала, только бы досыта тебя накормить. Четыре года войны не видела ни дня, ни ночи, сутками не смыкала глаз. Молилась богу за тебя. И вот она, благодарность! За что? За что, я спрашиваю!? Ведь я, как все матери, хочу своих детей счастливыми видеть.

— Разве в этом счастье, мама?

— Замолчи! Бог послал мне внука, и я хочу совершить все обряды, как того требует адат.

Рахман пытался урезонить мать:

— Я коммунист, мама. Пойми, я не имею права исполнять религиозные обряды.

Но доводы оказались тщетными.

Азиз поначалу поддержал жену и попытался уговорить сына. Но Рахман был неумолим. Баджи рыдала, обеими руками била себя по голове, царапала свое морщинистое, худое лицо. Однако и это не помогало. Поняв, что Рахман непоколебим, Азиз отступил. «Не убивайся понапрасну, Баджи,— принялся он теперь уговаривать жену.— Смирись. Мы с тобой уже не старшие в доме, теперь они старшие...» Но все его старания ни к чему не привели. Баджи не унималась, а сын не уступал. В конце концов старик умолк и только посматривал то на сына, то на жену...

С тех пор прошло семь лет. Вспоминая схватку свекрови с сыном, Хумор всякий раз удивлялась, как могла тогда смириться Баджи.

— Да, милая, твой муж — особенный. Он позабыл, кто породил его на свет.

Старуха искося взглянула на невестку. Ждала, что она ответит. Но Хумор молчала. Только улыбалась одними уголками губ. Карие глаза под ровными дугами черных бровей смотрели спокойно и ласково.

— Ну, ладно, дочка,— неожиданно остыла Баджи.— Теперь я сама справлюсь с дюшпере. А ты готовься к свадьбе. Погладь мужу брюки, рубашку.

На дворе смеркалось. Высоко над городом мерцали одинокие звезды. Где-то играл духовой оркестр. Азиз, сидевший с внучкой перед домом на скамье, сказал:

— Молодежь танцует. Вырастешь, детка, и ты пойдешь танцевать.

— И я? — серьезно переспросила Марал.

— Да, да. И ты.

Азиз поднялся, взял ребенка на руки, посмотрел в сторону Каспия. Над морем вставал огромный диск луны. Старику показалось, что луна вдруг разорвала могучую грудь Каспия, бысролетной ракетой взметнулась к небу и плавно поплыла над городом.

Вдруг за спиной раздался резкий окрик жены.

— Азиз! Где ты запропастился! Азиз!

— Я здесь,— тихо, не оборачиваясь, ответил Азиз.— Иди сюда, Баджи. Посмотри, как красиво небо над морем.

Старуха рассмеялась, зло и презрительно:

— Совсем рехнулся. Совсем не знает, куда время девать, чем заняться...

— Чем я должен, по-твоему, заниматься? Скажи, ради могилы твоего отца?

— Оставь в покое могилу отца моего. И дай сюда ребенка. Ступай ищи Рахмана. Где он пропал? Я дюшпере не бросаю в кастрюлю, как бы не переварились и не лопнули... Иди, иди, чего стоишь, как вкопанный?

Старик недовольно поглядел на жену:

— Ай, старая, куда ты меня гонишь? Кончится собрание — придет Рахман. Он на улице не задержится.

Баджи кинула на мужа злобный взгляд и вырвала у него девочку. Старик тоже разозлился, но сдержал себя, лишь шепотом произнес несколько ругательств в адрес жены. Потом вздохнул, безнадежно махнул рукой, поправил на голове высокую каракулевую шапку и побрел прочь.

— Да поторапливайся, не мешкай,— неслоь ему вслед.

Азиз шел по улице, боясь разминуться с сыном. Улица освещалась слабо. Многих встречных он не узнавал. Пройдя два квартала, он свернул за угол и вдруг услышал музыку. Мелодия ее была ему знакома с юных лет. С каждой минутой приближаясь, неслись звуки тары, кеманчи, бубна, а вскоре показалась и факельная процессия. Впереди шли музыканты, за ними нарядно одетые танцоры. Несколько женщин несли на головах большие подносы, покрытые разноцветными скатертями.

«Свадьба, идут к невесте с подарками»,— подумал Азиз.

Он замедлил шаг. Когда-то и ему приходилось так веселиться. Вместе с друзьями юности Асаилом, Юсуфом, Гавриилом по семи дней и ночей напролет гулял на свадьбах. Правда, Азиз тогда жил бедно. У Рахмана, отца его, не было ни клочка земли, ни дома. И сын и отец батрачили на богатых виноградарей, а весной работали на рыбных промыслах. Но как ни бедно жил Азиз, ни одной свадьбы он не пропускал. Больших денег это не стоило. Деньги требовались только на шобош музыкантам. А подарки полагалось делать лишь родственникам и близким друзьям. Да и то в меру сил и возможностей. «Это только теперь люди с ума посходили,— подумал старик и покосился на подносы у женщин на головах.—

Придумали новые порядки. Кто ни позовет на свадьбу — неси денежки, тащи подарки. Да подороже. Не принесешь — обидятся, осмеют, ославят на весь город. А свадеб — прорва. Другой раз что неделя — то свадьба. Вот и выкладывай сотню, а то и две. А нет лишних денег — что тогда делать? Отрывать от семьи, от детей? Мыслимо ли это?.. Но только попробуй скажи старухе, что не пойдем на свадьбу. Ого-го! Она, как пиявка, вопьется в тебя, как змея, зажалит до смерти...»

Когда свадебная процессия была уже далеко, его вдруг окликнули:

— Отец, ты куда?

Вместе с Рахманом был председатель колхоза Мукаил.

— Добрый вечер, дядя Азиз,— сказал он.

— Добрый вечер,— ответил старик.— А я собрался к вам в контору. Его мать,— Азиз указал на сына,— впилась в мое горло. Иди, говорит, узнай, почему Рахмана так долго нет. Боюсь, говорит, бросить дюшперу в кастрюлю, не лопнули бы. Вот я и отправился на поиски.

— Видать, строгая у вас жена, дядя Азиз,— улыбнулся Мукаил.

— И не говори,— старик лукаво подмигнул.— Изверг. Но что поделаешь, приходится терпеть. Пойдем с нами, Мукаил, дюшперу есть.

— Вы хотите, чтобы и за мной отрядили поиск?

— У тебя жена молодая, добрая.

Все засмеялись. Мукаилу неудобно было отказать старику, он принял приглашение.

Баджи встретила гостя радушно.

— Добро пожаловать, милости просим,— приветливо улыбаясь, приговаривала она, пропуская Мукаила в калитку, но все же не удержалась и по привычке съязвила.— Как это ты догадался к нам заглянуть? В честь этого солнце завтра, наверно, взойдет раньше времени.

— Вы же знаете, я друг вашей семьи. А прихожу редко потому, что дел много. Так что не сердитесь.

— Что правда, то правда,— миролюбиво согласилась Баджи и засуетилась, захлопотала вокруг стола.— Проходите, проходите, пожалуйста. Ох, наверное, в кастрюле уже вся вода выкипела,— она всплеснула руками и побежала к очагу.— Ай, Хумор, ай, дочка, бросай дюшперу в кастрюлю, а то я плохо вижу. Провалитесь сквозь землю, мои старые глаза!

— Не волнуйся, жена, я тебе стеклянные куплю,— успокоил ее Азиз и добродушно рассмеялся.

Баджи по обыкновению тут же вспылила:

— Да чтоб навеки закрылись глаза твоей сестры!

— Стоит ли, Баджи-хала, расстраиваться по пустякам,— примирительно проговорил Мукаил.

Он сел за стол, снял фуражку и вытер лоб надушенным платком. Мукаил начинал лысеть, и от этого лоб его казался огромным.

— Дядя!— вырвалось у Марал, не сводившей глаз с гостя.

— Иди ко мне, дочка,— Мукаил достал из кармана несколько шоколадных конфет и протянул девочке.

Марал шагнула было к гостю, но остановилась, нерешительно поглядывая то на конфеты, то на мать, то на бабушку.

— Бери. Бери, раз дядя угощает,— разрешила Баджи, взяла внучку за руку и подвела к Мукаилу.

Хумор тем временем накрывала на стол, принесла чуреки, круглые, пышные, обмазанные желтком и усыпанные маком, разложила зелень, подала соленья, вяленого кутума.

— И водка сейчас будет,— улыбнулся Рахман и принес из комнаты графин со стопками.

— Много не пей,— предупредила Хумор мужа,— нам еще на свадьбу идти.

— К кому? — поинтересовался Мукаил.

— Ты, наверное, не знаешь их,— ответила Баджи,— это друг моего мужа. Он выдает замуж внучку.

— Если он друг твоего мужа, пусть твой муж и идет,— улыбнулся Рахман.

— Не спорь,— недовольно поморщилась Баджи,— твой отец уже стар. Ему нечего делать на свадьбе.

— Нет, ты слышишь, Мукаил?— оживился Азиз.— Ты слышишь, что говорит моя жена? Я стар!

— А то нет?— затараторила Баджи.— Иди погляди на себя в зеркало.

Рахман остановил мать.

— Будет тебе, мама. Оставь отца в покое... Я бы пошел на свадьбу, но ведь что у нас получается? Назовут две, а то и три сотни гостей. В доме не хватает всем места, вот и сажают гостей на дворе, под открытым небом. А сколько крика, шума, неразберихи.

— Чем больше гостей, тем больше выручка,— заме-

тил Мукаил.— Выгодно и доходно. Ведь деньги идут с каждого гостя.

— В том-то и дело. Хороший народный обычай превращают в источник наживы.

— Ладно, ладно, Рахман,— сказала Баджи,— лучше налей гостю водки.

Перед Мукаилом уже стояла полная тарелка дюшпер. От нее поднимался густой белый пар.

— Давайте есть, пока не остыли,— предложил Азиз, разрезая чурек.

Мукаил поднял бокал.

— Выпьем за вашу дружную семью!

— Дай бог счастья детям твоим и братьям твоим,— степенно ответила Баджи.

Все выпили.

— Хороша нынче осень,— проговорил Мукаил, вслушиваясь в тихий шелест деревьев в саду.

— Да,— согласился Азиз,— бог даст, скоро начнем убирать агадаи.

— Я хотел завтра начать уборку, да заготовители не дают.

— При чем тут заготовители?— удивился Азиз.

— Говорят, будем брать по низкой цене. Мол, виноград еще не созрел. Мало в нем сахаристости. А я не могу сдавать его низким сортом.

— Кто теперь заготавливает у нас виноград?

— Толстяк Бебе. Ты его знаешь. Он когда-то работал в нашем колхозе кладовщиком. А верней сказать, заведовал винным подвалом.

— Бог ты мой!— изумилась Баджи.— Он же нечист на руку, этот паршивец. Кто дал ему власть?

Азиз задумался, поглаживая бороду, а затем осторожно предложил.

— Почему бы тебе, Мукаил, не сходить в райком и не поговорить об этом Бебе?

— Так я и сделаю,— поразмыслив, решил Мукаил.

Из комнаты донеслось: «Московское время двадцать один час. Начинаем передачу для...»

— Сколько, сколько он сказал? Я что-то не расслышала.— Начиная с тринадцати, Баджи никак не могла взять в толк нумерацию часов.

— Девять, мама,— пояснила Хумор.

— Так чего же вы ждете!— вскинулась старуха.— Пора на свадьбу.

— Сейчас, мама. Мы соберемся быстро.

Хумор и Рахман ушли в дом.

Рахман надел новый темно-синий костюм, коричневые туфли и сорочку в полоску. Хумор поправила перед зеркалом прическу, надела модное платье из набивного крепдешина, поверх — шерстяную кофточку.

— К ночи может похолодать.

— Да, не мешает одеться потеплее, — согласился Рахман.

«Ничуть не изменилась», — подумал он. Рахман смотрел на красивое лицо жены, и ему казалось, что видит он не зрелую женщину, мать двоих детей, а робкую, длинноносую девушку, с которой много лет назад сидел за одной партой.

— Что с тобой, Рахман, — застенчиво улыбнувшись, спросила Хумор, — впервые видишь меня?

— Если пройдет еще сто лет, ты все равно останешься для меня той же самой девочкой, юной и робкой, какой была в школе.

— И только? — в глазах Хумор засветилась ласковая улыбка.

— Нет... Ты для меня...

— Ладно, Рахман, нас ждут. Идем.

Она вышла на веранду и, подойдя к дочери, крепко поцеловала ее.

— Слушайся бабушку, хорошо?

— Да, — пообещала Марал. — А ты скоро вернешься, мама?

— Скоро, дочка. Скоро. Ложись, милая, спать.

Рахман и Хумор вышли на улицу вместе с Мукаилом. Пройдя несколько кварталов, они распрощались.

— До завтра, — сказал Рахман. — А насчет уборки винограда ты все-таки подумай.

— Хорошо. Желаю всех благ.

Как и ожидал Рахман, гостей на свадьбе набралось видимо-невидимо. Всех уместить в трех комнатах не удалось. Пришлось использовать двор. Он был залит спящим светом электрических ламп. Вдоль забора протянулась шеренга стульев, а противоположную сторону занимали скамьи, составленные из длинных толстых досок. Посреди двора был разостлан огромный сумах*. Под большим тутовым деревом стоял столик, за ним располо-

* С у м а х — ковер.

жились музыканты — завсегдатаи дербентских свадеб — тарист Мамед-Наги, кеманчист Арам, бубенщик и певец Амалтай.

Амалтай, весело оглядывая гостей, заполнивших двор, говорил своему другу Мамед-Наги:

— Раньше мужчины не сидели вместе с женщинами. Даже в разных помещениях находились. Только когда начинались танцы, звали женщин. Ели — и то отдельно.

— Да, у нас, азербайджанцев, было то же самое, — подтвердил Мамед-Наги.

— Нынешний порядок мне больше по душе, — заметил Амалтай.

— Еще был — согласился Мамед-Наги.

Их разговор прервал тамада, невысокого роста плотный мужчина с длинными черными усами и глазами, покрасневшими от выпитого вина:

— Ай, музыканты-сазандары, вы что, уснули? Играйте, пусть танцует, веселится молодежь.

Музыканты заиграли разом, стройно и дружно. Начались танцы. Рахман и Хумор пристроились на скамье в углу, рядом с колхозниками своей артели.

— Посмотри, Рахман, на этого человека. Как он танцует! Смотри. На носках танцует, хотя и пожилой! — с восхищением воскликнула Хумор. — Артист!

— Так это же Ихиил Петегу. Он известный танцор. У него и отец был первым танцором на свадьбах. Это у них в крови.

Ихиил Петегу, худощавый, невысокий, небритый, в мягких легких сапожках, резко взмахивая руками и выкрикивая «Ас-са, ас-са!», прыгал, как юноша, не сводя глаз с молодой женщины, кружившейся перед ним на ковре.

— Отец часто рассказывал мне про Ихиила Петегу и его отца. Их называли украшением свадеб...

— Гляди, кто пришел, — перебила мужа Хумор.

Во дворе появился Бебе — толстый человек в гимнастерке с отложным воротником, в бриджах, опоясанный широким ремнем военного образца. Голова у него была крупная, шея короткая, лицо широкое и круглое. Он пришел не один, а вместе с женой Либо, рыжей, с веснушками на лице и шее, непомерно толстой женщиной в широком платье из панбархата и белом шелковом платке.

— А Бебе все никак не расстанется с военной формой, — усмехнулся Рахман.

— Провалиться бы ему сквозь землю! Чтоб скалы его придавили!

— Тихо, тихо, Хумор,— Рахман сжал локоть жены.

Танцующая пара удалилась. Музыка смолкла. Тамада бросился навстречу Бебе:

— Добро пожаловать! Пойдемте, я вас устрою,— окинув быстрым взглядом двор, он приказал:— А ну, молодежь, уступи место дорогому гостю!

Тамада взял Бебе за руку и усадил на почетное место. Рядом с мужем уселась Либо. Ее большие глаза забегали по сторонам, ей не терпелось разглядеть гостей, а главное, их наряды. Оглядел двор и Бебе, кивнул знакомым, встретился взглядом с Рахманом и Хумор. «Дай бог тебе смерти!» — тихо проговорила Хумор, когда Бебе исподлобья взглянул на нее. А Бебе чуть заметно вздохнул. Ему вспомнилось прошлое, молодость, любовь, неудачное сватовство, размолвка.

Либо пыталась что-то прошептать мужу, но тот локтем оттолкнул ее.

— Молчи, не болтай лишнего,— процедил он сквозь зубы и снова уставился на Хумор.

Воспоминания о Хумор настолько овладели Бебе, что он не слышал ни свадебных песен, ни музыки, ни шума праздничной толпы. Он даже не замечал танцующих пар. Его занимала одна лишь Хумор.

Громкий голос тамады вернул Бебе к действительности.

— Какой танец заказать для тебя?

— Я пока подожду.

— Потом будет поздно. Слишком много охотников. Так что скажи, что заказывать.

Бебе подумал, еще раз вздохнул и, закрыв глаза, произнес:

— Гулять так гулять. Пусть сыграют «узун-дере».

Тамада поднял руку, крикнул:

— Ай, дорогой Амалтай, сыграйте нашему дорогому гостю Бебе «узун-дере»,— и, обращаясь ко всем гостям, бодрым, зазывным голосом предложил: — А ну похлопаем.

Бебе встал, подтянул ремень, одернул гимнастерку, поднял руки и, повернувшись к жене, пригласил ее на танец.

После нескольких кругов он полез в карман, достал пачку денег, вытянул две сотенных бумажки, одну отдал

жене, а другую кинул в тарелку, стоявшую на столе перед музыкантами.

— Видала! — Рахман скосил глаза на жену. — Как сорит деньгами! Были бы трудовыми, он бы не сорил.

Сделав еще круг, Бебе подмигнул жене, и она села на место, а он потребовал:

— Пригласите невесту! Хочу с ней танцевать!

В предвкушении новых воздаяний музыканты заиграли еще веселей.

Тамада подлетел к невесте, взял ее за руку и подвел к Бебе. Тот снова полез в карман, вынул еще две сотни и вложил невесте в руку. Вслед за ним одарили невесту деньгами гости: кто давал десятку, кто четвертную. И чем больше денег давали люди, тем веселее играли музыканты.

Но вот невеста кончила танцевать и отошла от Бебе. Деньги она унесла с собой. Ошеломленные музыканты чуть не уронили на пол свои инструменты.

— Ай, друг Амалтай, — тихо проговорил Мамед-Наги, — в старину невеста, бывало, все деньги бросит в тарелку, а потом уж уйдет. А теперь что?

— Да, — печально вздохнул Амалтай. — Невыгодно стало играть на свадьбах.

Уже было поздно, когда тамада приказал накрывать на стол. Принесли горячие пышные чуреки, вино. Помощники тамады разложили по столам зелень, расставили тарелки с отварным кутумом. Любители выпить не стали дожидаться горячей закуски. Забулькало вино, зазвенели бокалы, зазвучали тосты.

Бебе пил много, торопливо закусывал. После нескольких стаканов у него зашумело в голове. Он снова вспомнил Хумор. Теперь он смотрел на нее, не отрываясь. В его сузившихся глазах вспыхивали недобрые огоньки. Чем больше он пил, тем сильнее в нем разгоралась ненависть к Рахману. Вдруг он вскочил и крикнул:

— Ай, Амалтай, сыграй-ка мне, я буду петь.

И он запел:

«Я был влюблен в тебя, красавица,
В тебя, красавица, в тебя, красавица,
И остался с раненым сердцем, красавица,
С раненым сердцем, красавица моя!»

У Бебе не было ни голоса, ни слуха. Его никто не слушал, на него никто не обращал внимания, только жена

толкала его в бок и свистящим шепотом просила замолчать. Но он все-таки продолжал свою песню, в которой сто раз повторялось слово «красавица».

Хумор крепко сжала локоть мужа.

— Вставай, идем домой!

— Посидим еще немного. Хозяева обидятся.

— Пускай обижаются. Пойдем!

Когда они приблизились к калитке, к ним подбежали тамада и хозяйка дома Гавид. Она чуть не плакала.

— Лучше бы я на месте умерла, чем вас обидеть. Разве вам плохо у нас? Почему вы уходите?

— Завтра рано утром надо выходить на работу,— объяснила Хумор.— А время уже позднее, второй час... Спасибо вам. Пусть в вашем доме всегда будет радость.

— Дай бог радости и счастья всей вашей семье, вашим дорогим деткам,— успокоившись, проговорила хозяйка.

Ночь была тихая, светлая. Город спал, объятый серебристым безмолвием. Только издалека, со стороны железной дороги доносились гудки паровозов.

Рахман и Хумор шли медленно, молча. У Хумор из головы не выходил Бебе с его пьяной физиономией. «Лучше бы мне не ходить на эту свадьбу»,— с досадой думала она. И вдруг, прижавшись к мужу, сказала:

— Я хочу отдохнуть, прибавим шагу.

УБОРКА ВИНОГРАДА

Говорят, что человека к старости одолевает бессонница. Азиз в этом отношении оставил далеко позади всех стариков Дербента. Вот уже несколько лет подряд Баджи замечала, что муж ее каждое утро просыпается затемно, подметает двор, а потом отправляется на море купаться. Однажды он попал в смешную историю. Проснувшись, как всегда, спозаранку, Азиз накинуд на плечи бешмет и не спеша спустился к морю. Он не стал купаться на пляже, отошел в сторонку, где вплотную к морю прижались рыбацкие домики. Одна из хозяек, выйдя во двор, приняла Азиза за ночного вора. Женщина заголосила, и на ее крик сбежались рыбаки. Они схватили старика и повели в милицию. На счастье, дежурный оказался знакомым. Он удивился, когда рыбаки со словами «поймали вора» втолкнули в кабинет Азиза.

— Кто вор?— едва сдерживая смех, осведомился дежурный.

— Он! Он!— голосила рыбацка, тыча пальцем в грудь Азиза.— Он хотел взломать замок.

— Ай-ай-ай!— лукаво улыбнулся дежурный. А когда растерянный Азиз, подняв руку, попытался что-то объяснить, прервал его.— Ладно, ты лучше помолчи.

Затем, не выдержав, он громко расхохотался. Он рассказал рыбакам, кто этот человек, которого они приняли за вора.

С тех пор Баджи строго-настрого запретила мужу купаться ни свет ни заря. Но Азиз был не из тех, кто слушается жен.

— Давай условимся,— предложил он старухе,— ты согласишься есть трефное мясо, а я перестану утром рано ходить к морю.

Баджи не на шутку рассердилась:

— Ай, Азиз, почему твоя покойная мать не родила вместо тебя головешку?

Тут уж не выдержал Азиз.

— Ты не женщина, а сатана,—в сердцах прокричал он.

Так они ни о чем и не договорились. Баджи по-прежнему не ела трефного, а Азиз по-прежнему спозаранку купался в море.

В этот день Азиз, как обычно, поднялся до рассвета. Но на сей раз он торопился не к морю, а на виноградную плантацию. В колхозе началась уборка.

— Хмурое выдалось нынче утро,—проворчал про себя старик, взглянув на небо.

С северо-запада, от высоких гор, наплывали черные облака, нависая над горным аулом Джалган. Над дербентской крепостью сгущались тучи.

«Как бы дождя не принесло,—с опаской подумал Азиз.— Обычно в это время, в пору еврейских праздников, одолевают дожди... Не приведи господь...»

Да, дожди могли наделать много бед. Агадаи уже созрел, созревали и другие сорта винограда. Заряди сейчас дожди — сопреет виноград, испортится, пропадет.

«Убрать, во что бы то ни стало убрать,—напряженно думал старик,— убрать, не теряя ни часа!» Он наспех оделся, умылся, разбудил старуху и постучался в спальню сына:

— Рахман, ай, Рахман, вставай, дорогой. Теперь нельзя долго спать. Пришла уборка.

Не один Азиз беспокоился об уборке. Многие колхозники ещё несколько дней назад начали поторапливать председателя:

— Послушай нас, Мукаил, приступай к уборке.

Но председатель медлил. Он никак не мог договориться с заготовителями о цене. Виновником же задержки колхозники считали председателя. Старый друг Азиза седобородый Эсеф возмущался:

— Не пойму Мукаила. Что за человек! Со старым председателем Адигезалом было совсем другое дело. Он всегда старался уборку начинать пораньше. Боялся, чтоб не пропал урожай. Ругался с нами, когда мы тянули. А этот? Ни рыба ни мясо.

Эсеф собрал стариков и пришел в партбюро жаловаться на председателя.

— Хотя ты по возрасту моложе всех,— говорил Эсеф Рахману,— но по должности— всех старше. А раз так, у тебя должно быть ума больше нашего. Иначе тебя не выбрали бы секретарем. Так вот, мы просим тебя, поговори с Мукаилом, вразуми его. Пусть пожалеет наш труд...

Старик подошел поближе к Рахману и показал мозоли на своих изборожденных морщинами руках.

— Не волнуйся, дядя Эсеф,— успокоил его Рахман,— на днях начнем уборку. Мешают заготовители. Грозятся принимать виноград низким сортом. Не созрел, говорят. Сахаристость низка.

— Заготовители?— удивился старик.— Кто они? Я их знаю?

— Знаешь, дядя Эсеф. Помнишь нашего бывшего кладовщика Бебе?

— Толстяка? Плешивого? Ах он шайтан!— вскипел старик.

После их разговора прошло несколько дней. За это время и виноград созрел и все переговоры с заготовителями закончились. Началась уборочная страда.

Участки бригады Рахмана были расположены в двух разных концах: старые виноградники — южнее Дербента, новые — севернее города, в районе поселка «Огни», неподалеку от железнодорожной ветки.

В первые дни бригада убирала виноград на старых плантациях. Многие колхозники вышли на работу семья-

ми. Старик Эсеф привел с собой невестку и трех внуков, не было только его сына. Старик и его невестка срезали виноградные гроздья и наполняли корзины, внуки уносили их с поля.

Неподалеку от семьи Эсефа работали Азиз и Хумор. Хумор на время уборки взяла в поликлинике отпуск. Работа на винограднике была для нее не в новинку. Во время войны ее наградили медалью «За трудовую доблесть». Сколько раз о Хумор, как о передовой колхознице, писали в газетах. Став медиком, она не порвала с родным колхозом. Хумор часто можно было видеть на виноградных плантациях. Здесь она чувствовала себя как в родной стихии. Одно лишь смущало — мужские сапоги. Ходить в них было страшно неловко.

— Отвыкла от сапог, дочка?— спросил в это утро Азиз.

— Ничего, отец,— улыбнулась Хумор.

Услышав сигнал автомобиля, она подняла голову и взглянула на дорогу. На обочину свернула райкомовская «Победа» и, проехав несколько метров, остановилась под старым тутовником, около бригадного домика. Из машины вышли Мукаил и секретарь райкома партии Мамедов, плотный, коренастый мужчина в гимнастерке с отложным воротником и брезентовых сапогах. Рахман поспешил навстречу приехавшим.

Мамедов за руку поздоровался с Рахманом, поклонился старикам.

— Как себя чувствует старая гвардия?— спросил он.

— Мы на старость не сетуем,— явно бодрясь, заявил Азиз. Но Эсеф схватился за бок, и его обросшее седой щетиной лицо помрачнело.

— Старость, конечно, делает свое дело, сынок. Но мы еще повоюем.

— До ста лет вам жить не тужить,— проговорил Мамедов и, обращаясь к Рахману, спросил:— Как дела, парторг? Много отправили винограда?

Рахман вздохнул:

— Если бы мы, товарищ Мамедов, не мешкали и не теряли попусту время, то уже давно убрали бы агадаи и начали убирать нарму.

И Мамедов и Рахман взглянули на виноградные лозы. Они пригнулись к земле, а кое-где совсем полегли.

Лицо Мамедова стало хмурым. Он долго молчал, размышляя о чем-то, затем тихо проговорил:

— Пойдет дождь,— пропадет все добро.

Старик Эсеф, приблизившись вплотную к Мамедову, дернул его за рукав:

— Юлдаш Мамедов, ты только взгляни на небо. Посмотри, какое оно мрачное. Не к добру это. Могут зарядить дожди. Надо было раньше убирать. Могли бы использовать каждый день, каждый час. Нельзя было упустить ни единой минуты.

Мамедов пристально посмотрел старику в глаза и сказал:

— А кто вам мешал это делать? Кого вы вините? Что, райком должен за вас убирать урожай?

Эсеф смешался. Вопросительно взглянул на Мукаила, растерянно промолвил:

— Сам председатель говорил, что пока виноград не созреет, его не примут.

— Кто не примет?

— Заготовители.

Из-за куста выглянул Ахмед-даи, известный в колхозе шутник и остролов.

— Вы меня извините, юлдаш Мамедов,— широко ухмыляясь, произнес он,— но в народе говорят: «Кто часто портит воздух, тот взваливает вину на ячменный хлеб».

Раздался взрыв дружного хохота, Ахмед-даи никогда не бил мимо цели. Не смеялся один лишь Мамедов. Опустив голову, он угрюмо разглядывал виноградные гроздья, лежавшие на земле. С минуту помолчав, Мамедов глухо проговорил:

— Но есть и другая народная поговорка: «У болтливого пастуха волки в стаде пасутся». Так что поскорее убирайте, не то пропадет виноград.— Потом, взглянув на Мукаила и Рахмана, он уже на ходу бросил:— Поедемте в бригаду Рамазана.

Прошло несколько минут, как укатила райкомовская «Победа». Небо над виноградниками потемнело. Оно как бы стало оседать к земле все ниже и ниже. Заморосил дождь. Мелкий, словно его просеивали сквозь сито, он постепенно усиливался. И вот уже серую мглу исполосовали тонкие серебристые нити.

— Ай, Азиз,— окликнул своего старого друга Эсеф, — видишь? Началось.

Азиз посмотрел на небо. Ему показалось, что оно вот-вот придавит виноградники.

Где-то вдали сверкнул зигзаг молнии, пророкотал

гром. Вскоре на землю обрушились потоки ливня. «Может быть, скоро пройдет», — со слабой надеждой подумал Азиз и поискал глазами невестку. Хумор, покрыв голову пустым мешком, стояла вместе с другими женщинами под тутовником. Старик закурил и поплелся к бригадному домику, под навесной крышей которого уже пристроились другие, старые и молодые колхозники.

— Подождем, может, скоро пройдет, — сам не веря своим словам, вяло проговорил Азиз.

Но Эсеф накинулся на него:

— Что за чушь ты мелешь! Смешно и противно слушать. Ты только посмотри на небо, и все глупые слова застрянут в твоем горле. Кто бы другой болтал чепуху, а не ты, старый виноградарь.

Азиз замолчал. Молчали и другие. А дождь все лил и лил. Земля намокла и стала вязкой. Теперь по ней уже трудно было ступать.

Мрачные и подавленные, колхозники уселись в машины и поехали домой. На плантации остались одни лишь сторожа.

С того дня зарядили дожди. Случалось, правда, что над Дербентом с утра проглядывало солнце. Тогда колхозники, не теряя времени, выезжали на плантации. Но не надолго. Работали часа по два, не больше. Потом дождь снова разгонял людей.

Ненастье кончилось лишь в канун еврейского религиозного праздника кипур — судный день.

В тот день все колхозники от мала до велика выехали на уборку. Иные виноградары призывали на помощь родственников, не членов колхоза: домашних хозяек, пенсионеров. Мукаил, объезжая бригады, наблюдал за дружной работой сборщиков, грузчиков, сортировщиков, шоферов и от души радовался.

Доволен был работой своей семьи и Азиз.

— Ты у меня молодец, дорогая невестка, — хвалил он Хумор, когда вся семья вечером собралась за ужином. — Умница, за день две нормы выполнила. Баркала, не забыла старую специальность.

— Не хвалите, отец, сглазьте, — застенчиво улыбнулась Хумор и украдкой, зардевшись, ласково взглянула на мужа.

Рахман отвел глаза, встретившись взглядом с Хумор. Ему не хотелось, чтобы жена прочла в его глазах восхищение.

Но Азиз, словно угадав мысли сына, проговорил:

— Знаю, сынок, ты по праву гордишься женой. Она молодец не только дома, но и на виноградниках. Однако сердце мое неспокойно, Рахман. Боязно мне за некоторых членов твоей бригады. Думаю, верующие завтра не выйдут на работу. Ведь судный день завтра. Подумай, кем заменить их. С уборкой медлить нельзя.

Рахман нахмурился, помрачнел.

— Как же так, отец,— с минуту помолчав, проговорил он,— сколько дней шли дожди. Разве можно урожай погубить? Где у людей совесть?

— У верующих свое понятие о совести, сынок. В судный день их на виноградники никакой силой не вытянешь.

Рахман вскочил и зашагал по веранде.

— Ведь накануне праздника мы организовали антирелигиозные беседы. Лелей Асаил проводил их так просто и так доходчиво, что, казалось, всю гнилую душу духовенства вывернул наизнанку. Жаль, что тебя не было. Посмотрел бы, как люди слушали.

— Еще бы не слушать. Лучше Асаила в Дербенте никто не разбирается в религиозных делах, даже сам старший раввин.

— Потому Асаил так глубоко и разоблачает обманщиков.

Молчавшая до этого Баджи не выдержала. Покосившись на мужа, она сказала:

— Ай, Азиз, посовестился бы седой бороды. Зачем обижать господа бога?

Старик рассмеялся:

— Опомнись, Баджи. Разве ты сама не говорила, что все раввины — плуты и обманщики.

Баджи всплеснула руками и, встав из-за стола, напустилась на мужа:

— Что ты несешь, старик. Совсем спятил. Нет того, чтобы поучить сына уму-разуму. Вместо этого он только подбрасывает щепки в костер.

— А ты знаешь, что творится на виноградниках? Если разорится колхоз, кто тебя будет кормить? Уж не бог ли?

— Господь бог всемогущ. Благодаря его милости еще никто не умер с голода.

Хумор с укором посмотрела на свекровь:

— Мама, зачем спорить понапрасну? Отец прав. Не надо на него сердиться.

— Как так не сердиться? Разве позволено старому че-

ловеку богохульствовать, настраивать своих детей против веры? Пусть Рахман не верит в бога. Он с детских лет пошел своей дорогой. На то он и партийный. Я не виню его. Но когда старик, который одной ногой уже в могиле, обижает бога...

Азиз встал, прошелся по комнате, подошел вплотную к жене и сверху вниз смерил ее долгим взглядом.

— Стало быть так, Баджи,— сдавленным голосом проговорил он.— Не знал, что ты желаешь моей смерти... Говоришь, стою одной ногой в могиле?.. Может, назовешь день и час, когда ангел смерти Азраил придет по мою душу? А, может, отправишься к раби Хаиму и спросишь его?

Рахман досадливо махнул рукой:

— Хватит, отец... Пока не разразился скандал, давай-те убирать со стола. Пора спать. Завтра вставать ни свет ни заря.

Он попросил постелить постель и лег раньше всех, но уснуть никак не мог. Лежал рядом со спящей женой, прислушивался к ее ровному дыханию и думал о том, что сказал отец. «Что мы будем делать, если завтра люди не выйдут на работу?» — в который раз спрашивал он себя и все думал и думал, ворочался с боку на бок, пытался заснуть и не мог.

— Почему ты не спишь? — сквозь сон спросила Хумор.

Рахман нежно поцеловал жену:

— Спи, спи.

Как ни плохо спал Рахман в ту ночь, утром он проснулся раньше обычного. Но отец все-таки опередил его. Одетый, он стоял уже во дворе и наблюдал восход солнца. Рахман быстро оделся. Хумор тоже заторопилась.

Они приехали на виноградник с первой машиной. Здесь было малоллюдно. Многие старики и женщины, как и предполагал Азиз, не вышли на работу.

— А что я тебе говорил, сынок? — с горечью заметил Азиз.— Даже мой друг Эсеф и тот не приехал.

Рахман тяжело вздохнул и побрел к бригадному домику, где находились весы.

— Как по-твоему, Исхак, многие сегодня справляют кипур? — спросил он у весовщика Исхака, молодого паренька с черными, как угли, глазами.

— Как тебе сказать, дорогой Рахман,— ухмыльнулся Исхак.— Клянусь тебе и отцу своему, умнее слов, кото-

рые говорил старик Асаил, я в жизни не слыхивал. Даже глупейший из глупых мог бы понять, что все эти судные дни на руку одним только шарлатанам и лодырям. Людям труда они ни к чему.

— Да-а,— чуть слышно сказал Рахман, подумав о чем-то своем.

— Выходит, все наши антирелигиозные беседы с верующими — что горохом об стену?

Исхак пренебрежительно пожал плечами.

— А, беседы-месе́ды. Некоторым нужны не беседы, а длинные палки.

Рахман удивленно поднял брови:

— Не дури, Исхак. Что за вздор — «длинные палки».

Весовщик виновато отвел глаза.

— Извини меня, Рахман, я не то имел в виду. Не в буквальном смысле бить палками. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю.

— Эх,— Рахман махнул рукой и отошел в сторону.

Солнце уже поднялось высоко, когда послышался сигнал автомашины. Рахман оглянулся и увидел вбегавшего на виноградник Мукаила. Они поздоровались. Мукаил присел на корточки перед кустами, увешанными тяжелыми, водянистыми гроздьями винограда, и поманил пальцем Рахмана:

— Гляди, гниет виноград.

— А я о чем думаю,— проговорил Рахман, глядя на почерневшие ягоды нармы. Мукаил только теперь заметил, как осунулось лицо парторга.— Боюсь, как бы наши труды не пропали даром. Надо спасать урожай.

Мукаил приподнялся, окинул взором плантации:

— Почему мало людей?

Рахман вздохнул:

— Как же, сегодня праздник — кипур.

— Совсем позабыл. А где Эсеф? Это он, сукин сын, мутит воду. Помню, накануне войны организовал в колхозном саду временную синагогу.

— Да, набожность одолела старика. Вконец осилила,— сказал Рахман.— А ведь неплохой колхозник. Душой болеет за колхозное добро. Недавно приходил в партбюро. Почему, говорит, не начинаете уборку? Прежний председатель Адигезал вовремя и организованно убирал урожай. Торопитесь, говорит, не то дожди нагрянут, виноград пропадет. Да, старик всей душой за колхозное дело. А вот поди ты, сегодня подвел. Судный

день для него оказался дороже родного колхоза. Старый хрен!

— Не ругай его, Рахман,— примирительно проговорил Мукаил.— Человек он старый...

— Дядя Азиз тоже не молодой,— вмешался в разговор Исхак.

К весам подошел Азиз. В руках у него была корзина, до краев наполненная виноградом. Поздоровавшись, старик попросил Исхака взвесить собранные им гроздья.

— Как же это твой друг Эсеф подкачал?— улыбнулся Азизу председатель.

— Можешь себе забрать такого друга,— отшутился Азиз.— Сегодня мой друг — Исхак. И ты. Да еще Рамазан. Видишь, вон он идет.

Мукаил обернулся. К ним поспешно приближался колхозный бригадир Рамазан, низкорослый, худощавый мужчина, с рябоватым лицом, в кожаной фуражке и саатиновом летнем пиджаке.

— Юлдаш председатель, что же это делается?— едва переводя дыхание, спросил он.

— Что именно?

— Ведь слово мы дали убрать виноград вовремя и без потерь. Обещали взять с гектара по пятнадцать тонн. Обязательство большое, слова громкие, а дела? Какие дела? Десять человек из бригады не вышли на работу. Разве это мыслимо?

Хотя день был не особенно жаркий, лицо председателя покрылось испариной. Мукаил снял плащ, вынул из кармана папиросы и закурил.

— Праздник сегодня,— попыхивая папиросой, сквозь зубы произнес Мукаил,— кипур.

— Стыдно признаться,— проговорил Рахман, и голос его прозвучал глухо,— но все наши антирелигиозные беседы, оказывается, не стоили ни гроша.

Мукаил бросил папиросу:

— Ну и черт с ними. Сегодня отпразднуют, а завтра выйдут на работу...— и, обращаясь к Рамазану, добавил: — Садись в машину, поедем к тебе в бригаду. Посмотрим, что там делается.

На участке бригады Рамазана Мукаил застал секретаря райкома Мамедова и заготовителя Бебе.

— А вот и председатель,— обрадовался Бебе.— Он и разъяснит. Колхоз все время обвинял заготовителей в том, что они не принимали незрелый виноград. А те-

перь, когда виноград созрел, переспел и даже начал гнить, колхоз его не сдает.

Бебе нагнулся, сорвал несколько прелых ягод и поднес председателю.

— Что ты на это скажешь, Мукаил? — расплывшись в широкой улыбке, спросил он. — Может, опять заготовки виноваты?

Мукаил побагровел:

— Не паясничай, Бебе. Твое отношение к колхозному добру хорошо известно.

Казалось, Мукаил вот-вот кинется на толстяка и ударит его, но он сдержался и, отвернувшись, пробормотал:

— Есть люди, способные только кляузничать.

— Ого, вы слышите, товарищ Мамедов? — Бебе был невозмутимо спокоен, теперь в голосе его даже слышалось ласковое сожаление. — Ай-ай-ай, разве можно так говорить? Мало того, что срывают уборку, мало того, что не способны воспитывать колхозников, они еще других обзывают кляузниками. Разве я научил ваших людей справлять праздники в самый разгар работы? Не мешало бы парторгу работать с людьми, а не передоверять их воспитание бывшим раввинам... всяким темным личностям, исключенным из партии.

— Ладно, время покажет, кто прав, кто виноват.

Бебе звонко и заливисто рассмеялся.

— Ай-ай-ай, да ты артист, товарищ Мукаил. Тебе надо в цирке работать, фокусником-иллюзионистом. Если завтра у вас весь виноград растащат, тоже из нас виноватых сделаешь?

Мамедову прискучила эта бесплодная перепалка.

— Хватит, товарищи, — устало проговорил он. — Сейчас не до болтовни. Надо убирать виноград.

— Не беспокойтесь, товарищ Мамедов, — засуетился Мукаил. — День только начинается. Я сейчас съезжу в город, постараюсь привезти людей. Обещаем, все меры к спасению урожая будут приняты.

Мукаил уехал в город, а Мамедов и Бебе на райкомовской машине направились в противоположную сторону. Мамедов сидел впереди, рядом с шофером, а Бебе сзади.

Мамедов вынул из кармана пачку сигарет. В ту же минуту Бебе зажег спичку и протянул секретарю:

— Прошу вас, товарищ Мамедов.

Машина шла по дороге, бегущей меж виноградных

плантаций. Справа над виноградниками возвышались зеленые склоны гор и аул Джалган, слева лениво колысались воды Каспия. По железнодорожному полотну со стороны Баку тянулся длинный состав. Паровоз резко свистнул и, прошипев, выпустил облачко сизого пара. Но Мамедов ничего этого не видел и не слышал. Его занимало лишь одно: как быстрее убрать виноград. Невесело и напряженно думая о делах колхоза, в котором только что побывал, он вдруг вспомнил о споре, разгоревшемся между председателем и заготовителем. Не оборачиваясь, он спросил:

— Слушай, Бебе, ты говорил о каком-то лекторе, исключенном из партии. Кого ты имел в виду?

Бебе улыбнулся:

— Старика Асаила. Его еще перед войной выгнали из партии. Был редактором газеты и допустил грубую политическую ошибку. Впрочем, иначе быть не могло. Асаил до революции учился на раввина. Потом был кантором в синагоге. Раввин с партийным билетом. Смешно, не правда ли?

Мамедов вспомнил свою юность, первомайские и октябрьские праздники, многолюдные митинги на городской площади. Лысоватый, сухопарый, с прищуренными глазами Асаил, держа в высоко поднятой руке неизменную кожаную фуражку с красной звездой на околыше, произносил с трибуны зажигательные речи на русском, азербайджанском и татском языках. Он вдохновенно говорил о великой революции, о славных подвигах народа. Мамедов, как и все другие, кто стоял на площади, будто замороженный, слушал пламенного оратора. Давно это было. В те годы Мамедов был еще безусым комсомольцем. Потом возмужал, покинул Дагестан, уехал учиться. А вернувшись в Дербент с дипломом агронома, уже не встречал Асаила ни на праздничной трибуне, ни на районных партийных активах. Потом ему рассказали, что Асаил исключен из партии. В чем была его вина, Мамедов не знал.

В последнее время старик все чаще попадался Мамедову на глаза. Он работал контролером при уполномоченном министерства заготовок. Все, кто знал Асаила, отзывались о нем, как о человеке редкостной добросовестности и порядочности. Одно удивляло Мамедова, почему старик ни разу не зашел в райком поговорить о своих партийных делах. «Видимо, чувствует свою вину,— ре-

шил Мамедов,— и не отваживается просить о восстановлении».

Машина запрыгала на ухабах. Сильный толчок резко тряхнул ее.

— Ну и дороги, чтоб их черт побрал,— выругался шофер и круто повернул баранку руля.

— Была бы моя воля, я обязал бы колхозы привести в порядок дорогу,— заметил Бебе.

Мамедов обернулся и исподлобья взглянул на Бебе. «Что-то мне не очень по душе этот человек,— подумал он.— Похоже, от него за версту воняет склокой. Такой способен за полчаса наплевистить на человека столько, сколько за пятилетку не расхлебашь. Чего доброго, попадется в Махачкалу кляузничать. Надо поговорить с Рахманом».

Однако в повседневных хлопотах Мамедов так и не выбрал время для этого разговора.

Но Бебе не дремал. По его настоянию Рахман был вызван в райком. Здесь его ожидал неприятный разговор с инструктором Якубовым.

НЕПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР

Рабочий день уже давно окончился, а Якубов с Рахманом все еще сидели в райкоме.

— Мне кажется, товарищ Рахманов,— скучным голосом, монотонно и назидательно цедил Якубов,— у вас в колхозе налицо вредная недооценка воспитательной работы. Как иначе можно квалифицировать тот факт, что вы слепо передоверили воспитание колхозников политически сомнительному человеку, изгнанному из рядов партии. Разве у вас мало достойных людей?

— Да что вы говорите, товарищ Якубов! Разве вы не знаете, что Асаил,— наш человек? Разве вы не знаете, как колхозники слушают его?

— Я знаю лишь одно,— с той же размеренной неторопливостью бесстрастно продолжал Якубов,— что он исключен из партии.

В знак того, что тема разговора исчерпана, Якубов встал из-за стола, закурил папиросу и подошел к окну. Вдали на горе чернела древняя крепость. За ее бастionsами садилось солнце, заливая багровым сиянием предвечернее фиолетовое небо.

Рахман, не сходя с места, наблюдал за инструктором, за его ладно скроенной фигурой, облаченной в щеголеватый костюм-китель, перехваченный в талии широким ремнем. «Франт,— неприязненно подумал Рахман,— дешевый франт».

Видимо, почувствовав на себе пристальный взгляд, Якубов обернулся:

— Вы, товарищ Рахманов, конечно, старше меня по годам, но в политике, как мне кажется, младенец.

— Что поделаешь, товарищ Якубов, век живи, век учишься, дураком помрешь. Больше ко мне вопросов не имеется?

Якубов промолчал, делая вид, что не понял иронии, и так же тихо и бесстрастно проговорил:

— Учтите, товарищ Рахманов, к нам поступило несколько сигналов. И я рекомендовал бы вам прислушаться к трезвому голосу товарищей. На днях состоится партийный актив. Не исключено, что вам напомнят о бдительности.

И правда, вскоре, сидя на собрании партийного актива, Рахман услышал немало неприятных слов. И не от кого-либо другого, а от Бебе Шамаилова.

— Товарищи,— гремел с трибуны Бебе,— колхозники считают, что парторг Рахманов зарвался и потерял бдительность.

— Колхозники тебя не просили говорить от их имени,— с места выкрикнул Мукаил.— Если потребуется, они скажут сами.

Председательствующий Мамедов нажал кнопку звонка, призвав не мешать оратору.

— Обратите внимание, товарищи,— плаксиво и жалобно заговорил Бебе и отпил воды из стоящего на трибуне стакана.— Не дают говорить. Если здесь, на этой высокой трибуне, эти люди зажимают негодным рот, что же они вытворяют в своем колхозе? Я еще раз повторяю, парторг Рахманов зарвался. Его перехвалили. У него пошла кругом голова. Он оторвался от масс. Вместо того, чтобы самому разговаривать с людьми, воодушевлять их на хорошие дела, одним словом, воспитывать, он передоверил все это и кому? Бывшему раввину. Да, да, бывшему раввину, товарищи! Что же получилось в итоге? В самый разгар уборки колхозники не вышли на работу. Они, понимаете ли, праздновали кипур... Словом, как видите, что посеешь, то и пожнешь...

Рахман слушал, краснел, сжимал кулаки и никак не мог понять, почему Мамедов не остановит распоясавшегося демагога. В конце концов он не выдержал и выкрикнул с места:

— Демагогия!

Мамедов снова нажал кнопку звонка. Бебе, даже не взглянув на Рахмана, продолжал:

— Вы слышите, товарищи, Рахманова заело. Недаром народ сложил пословицу: «Когда говорят правду, у плешивого горит голова».

Зал разразился хохотом. Голова оратора блестела, как бильярдный шар. Все дербентцы называли толстяка «плешивый Бебе». Это было его прозвище.

Выждав, пока смех стихнет, Бебе заговорил вновь, продолжая поносить Рахмана. Но теперь люди уже не слушали его. Зал недовольно шумел:

— Хватит! Регламент! Время!

Мамедов позвонил и выжидательно посмотрел на Бебе. Тот вынул из кармана платок, вытер вспотевшее лицо, побагровевшую лысину и, не закончив речь, покинул трибуну.

Рахман ждал, что Мамедов в заключительном слове осудит злобную демагогию Бебе. Но этого не случилось. Секретарь райкома говорил о задачах, стоящих перед колхозами района, о мерах, которые необходимо принять, чтобы их выполнить, и ни слова не обмолвился о выступлении Бебе.

Когда собрание окончилось, Рахман, не дожидаясь Мукаила, вышел на улицу. Здесь было темно. Густой туман окутал все вокруг, лишь кое-где смутно проглядывали расплывчатые пятна уличных фонарей.

От клуба железнодорожников, где проходило собрание, до берега моря было совсем недалеко. Перейдя железнодорожное полотно, Рахман спустился вниз и вышел к морю. Огромное и вечно живое, оно угадывалось по неумолчному шуму волн, то накатывающихся на берег, то с шуршанием уносящихся прочь от него.

Усталость вдруг тяжелым мешком навалилась на Рахмана. Он лег на мягкий песок и долгим взглядом уставился в серовато-белесую мглу. В ней, покачиваясь, мигал, подобно карманному фонарику, огонек, горящий на каком-то судне.

На душе у Рахмана было смутно. «А, может быть, я в самом деле совершил проступок?— спрашивал себя»

Рахман.— Может, я действительно достоин осуждения? Может быть, я не имел права доверять Асаилу?.. Но ведь отец не раз рассказывал, как Асаил накануне революции отрекся от религии. Как в годы гражданской войны он стал партизаном. Как в первые годы пятилетки помогал бедноте организовать в Дербенте колхозы. А потом, как враги оклеветали его и с помощью провокации добились его исключения из партии...»

Большая волна прихлынула на берег, прокатилась по песку, лизнула подошвы ботинок Рахмана и, обессилев, уползла вспять. Рахман поднялся, стряхнул с одежды песок и направился в город.

Когда он пришел домой, все уже спали. Не спала лишь Баджи. Она сидела на веранде и подкладывала дрова в печь, на которой грелся ужин.

— Где ты пропал, сынок? Сердце мое чуть не разорвалось, а глаза чуть не ослепли... Сколько можно ждать?

— Я был на собрании, мама. Напрасно ты не спишь.

— Мать скорее умрет, чем оставит сына голодным.

— Я не хочу есть, мама. Ложись.

— Где же ты успел поужинать?

Услышав голос мужа, Хумор поднялась с постели, надела халат, накинула на плечи теплый шарф и вышла на веранду.

— А ты почему на ногах?

— Разве я могла спать? — виновато улыбнулась Хумор.

Повозившись у плиты, Баджи подала ужин на стол.

— Ешь, сынок. Если хочешь вина, возьми в буфете.

— Спасибо, мама.

Рахман ел молча, а Хумор, хотя и не глядела на него, чувствовала, что творилось с ним. Она ни о чем не спрашивала, ничего не говорила, а только ухаживала за мужем, то поднося зелень, то разрезая чурек, то наливая вино.

— Спокойной ночи, детки. Дай бог вам здоровья и счастья.

Оставшись с женой наедине, Рахман спросил:

— Беспокоилась?

— Ты же сам знаешь.

Рахман улыбнулся усталой и невеселой улыбкой. Он встал, подошел к жене, положил ей руки на плечи. В широко раскрытых глазах Хумор он прочел и тревогу, и участие, и ласку.

— Пойдем, дорогая, я устал, спать хочу.

Проснувшись поутру, Рахман жену уже не застал. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели в ставнях, играли в кудрях Марал, спавшей рядом в детской кроватке. Рахман с нежностью посмотрел на дочку и вдруг услышал ее певучий голосок:

— Папа, ты не спишь?

— Нет, милая. Иди ко мне.

Марал соскочила на пол, быстро, быстро зашлепала босыми ножками по полу и, забравшись в постель к отцу, обвила его шею маленькими нежными ручонками.

— Ты моя хорошая. Ну, пора одеваться. Не то бабушка заругает.

Марал выпрыгнула из постели и, схватив свое платье, выбежала на веранду:

— Бабушка, одевай меня, быстро.

— Иди ко мне, детка, иди ко мне, моя радость,— Баджи обняла внуку.

Рахман вышел в сад и вместо физзарядки стал перекапывать междурядья виноградных кустов. Потом умылся, оделся и попросил у матери чаю.

— Садись, сынок. Сейчас будем завтракать.

От калитки послышалось:

— Рахман дома?

— Дома, дома, входите. Кто там?— спросила Баджи.

Во двор вошел худой старик в поношенном демисезонном пальто, стоптанных сапогах и темной кожаной фуражке. Услышав голос гостя, Азиз поспешил на веранду:

— Доброе утро, Асаил. Добро пожаловать.

Старики пожали друг другу руки, Азиз потащил Асаила на веранду, к столу. Рахман встал, поздоровался, предложил стул.

— Спасибо, я ненадолго.

Азиз рассмеялся:

— Слушай, Асаил. Если ты зашел сюда по своей воле, то это еще не значит, что ты можешь отсюда так же уйти. Сейчас ты в наших руках. Хозяева этого дома мы. И пока тебя не отпустят, ты никуда не уйдешь.

Баджи поддержала мужа:

— Садись, садись, Асаил. Будем чай пить.

— А если мне не хочется чаю?— улыбнулся Асаил.

— Тогда мы угостим вас вином,— сказал Рахман.

— Неужели вы желаете моей смерти?— пошутил старик.

— Не дай бог,— вскрикнула Баджи.— Пускай лучше перемрут твои враги.

— Вам действительно нельзя пить?— спросил Рахман, он уже готов был налить старику вина.

Асаил остановил его руку, помрачнел и медленно, с трудом выдавливая слова, проговорил:

— Плохо дело с желудком, сынок. Не принимает ничего острого. Особенно кислого.— Он вздохнул, опустил голову и, не поднимая ее, добавил, обращаясь к Азизу.— Да, постарели мы, друг Азиз. Сдали... Твой отец, Рахман, знает, сколько мы в молодости выпивали вина... И ничуть не хмелели. Вот что самое интересное.

— Потому что пили с умом,— гордо проговорил Азиз.

— Ишь ты, какой умный нашелся,— не удержавшись, вмешалась в разговор Баджи.— Не приведи господь еще одного такого умника. Ты, наверно, забыл, в каком виде являлся домой, когда Рахман был маленьким. Еле доползал до постели и заваливался спать, в чем был.

Асаил с мягкой грустью улыбнулся и тихо покачал головой.

— Друг мой, Азиз. Не растравляй старых ран моей сестры Баджи. Они уже давно затянулись.

— Зачем ворошить грехи молодости,— недовольно проворчал Азиз.— Одна только моя старуха никак не может забыть того, что давно быльем поросло!

— Почему плохое никогда не забывается? А хорошее так быстро выветривается из памяти?— задумчиво произнес Асаил.

Азиз придвинул ему стакан чаю.

— Выпей, Асаил, сладкого чаю. На все вопросы жизни все равно не ответишь. Пей чай. Как говорится, чем хабар*, лучше хинкал.

Рахман пил чай и украдкой поглядывал на Асаила. Глаза старика глубоко запали, на осунувшемся бледном лице обострились скулы.

«Что с ним происходит? — с тревогой думал Рахман.— Плохо выглядит, подавлен, мрачен. Куда девались веселые шутки? Может быть, узнал о том, что говорилось на партактиве?»

Рахман в своих догадках был неправ. Асаил ничего не знал. Старика мучила болезнь. За последнее время боли

* Х а б а р — разговор.

в желудке становились все сильнее, особенно обострялись они к осени. В пору обострений старик уже не мог есть ни мяса, ни фруктов, ни овощей. Манную кашу он не любил, а на одном молоке тоже не мог сидеть. Нет-нет да и отведаст мяса. И не находит места от боли. Болезнь все сильнее одолевала Асаила, и лишь в общении с людьми находил он некоторое забвение. Разговаривая с ними, он отвлекался от болезни, хотя бы на время забывал о ней. Последние несколько недель он чувствовал себя настолько плохо, что совсем не выходил из дому. Сейчас ему немного полегчало, и первое, что он сделал,— отправился к Рахману, чтобы договориться об очередной беседе с колхозниками.

— Я бы с радостью поручил вам провести ее,— смущенно проговорил Рахман,— но не могу. Вы уж меня извините; не могу.

Асаил от неожиданности не смог вымолвить ни слова и лишь растерянно стал помешивать ложечкой в стакане. В неловкой тишине было слышно, как тяжело, с хрипом дышит старик и позванивает ложечка о стакан.

— Некоторые обстоятельства не позволяют,— глухо проговорил Рахман, и голос его показался ему самому незнакомым и чужим.

— Что это за обстоятельства?

Поначалу Рахман не хотел говорить, но старик настаивал, и он объяснил:

— Нашлись люди, которые наклеузничали. Дескать, я поручаю проводить антирелигиозные беседы человеку, исключенному из партии... бывшему раввину... Так что, дядя Асаил,— Рахман совсем смутился,— теперь я уже больше не смогу...

Он смолк. Асаила словно кто-то ударил по спине, внезапно и свирепо. Он разом сник, будто переломился. «Выходит,— подумал он,— старая пословица права: я за тебя жизнью жертвую, а ты мне ногу подставляешь».

— Вы не думайте, дядя Асаил, что я вам не доверяю,— заторопился Рахман,— я вам верю всей душой, как самому себе. Я знаю — вы честный человек, вы — коммунист всем своим...

— Можешь не продолжать. Скажи только одно — кому я помешал этими беседами?

Рахман помолчал, в нерешительности взглянул на отца,— лицо Азиза было суровым и требовательным,— подумал и тихо сказал:

— Вас ненавидит плешивый Бебе. Вы должны его знать.

— Сын рыжего Шамаила? — спросил Асаил, посмотрев на Азиза.

— Он самый. Помнишь, ты схлестнулся с ним в первые годы после революции...

Это было в 1920 году. Вернувшись из Царицына, куда он бежал от белогвардейцев, Асаил был назначен начальником продовольственного отряда. Он хорошо знал Дербент, людей, кто чем живет и дышит. Вместе с красноармейцами своего отряда он пришел к Шамаилу и потребовал сдать государству излишки зерна. Шамаил бил себя кулаком в грудь, клялся и божился, что никакого зерна у него нет.

Асаил приказал произвести обыск. Зерно было найдено и погружено на подводы. Когда лошади тронулись со двора, рыжий Шамаил подозвал толстого мальчугана, торчавшего у калитки, и сказал ему, указывая пальцем на Асаила:

— Сынок, запомни этого человека с красной звездой на фуражке. Он наш враг. Отомсти ему. Рано или поздно отомсти. Даже если меня уже не будет в живых, все равно отомсти!

Асаил покачал головой и глубоко вздохнул:

— Да, яблоко недалеко упало от яблони. Стало быть, вот кто мне вредит. А я-то наивно верил, что Бебе не пойдет по стопам папаши. Глупец!

— Дядя Асаил, а почему вы снова не попытаетесь восстановиться в партии? Я знаю, в свое время разбор вашего заявления отложили. Но это же было давно. Напишите опять. Я уверен, вас восстановят.

Подумав, Асаил ответил:

— Напишу, дорогой, непременно напишу. В ЦК. Обо всем, что пережил за эти годы... Хотя я вне партии, связи с ней я никогда не терял. Я чувствовал себя коммунистом. И умру коммунистом, если даже не сумею вернуть партбилет.

Асаил встал, попрощался. Азиз вышел проводить его.

— Не падай духом, старина. Все будет хорошо.

— Будем надеяться.

Асаил медленно брел по городу. Стоял пасмурный осенний день. Улицы были малолюдны. Небо все больше мрачнело. Похоже, собирался дождь... Асаил шел и думал, с чего начать письмо в ЦК.

Он вспомнил свою нелегкую жизнь, и перед мысленным взором его, подобно кадрам кинохроники, проходило бывшее.

Отец, бедный дербентский садовод, с невероятным трудом растивший пятерых сыновей мал мала меньше, часто говорил: «Я всю жизнь трудился, страдал, мучился и остался неграмотным. Хочется выучить и вывести в люди хотя бы одного сына».

Но где до революции мог учиться сын бедного тата-садовода? Светских школ в те времена в Дагестане почти не было. И старик Яхья решил, что Асаил станет развином.

Так что Асаил с юных лет засел за талмуд. В конце концов он стал кантором одной из девяти дербентских синагог.

Вскоре молодой кантор познакомился с членами подпольного марксистского кружка Керимом Мамедбековым, Ароном Эрлихом, Любой Эрлих, с ссыльным большевиком-революционером Маркусом. С их помощью он приобщился к марксистской литературе и стал критически относиться ко всему, чему его учили раввины.

Внутренне Асаил еще в дореволюционные годы был подготовлен к разрыву с религией, но страх перед отцом удерживал его от окончательного и решительного шага. Совершить его помогла революция. Когда до Дербента донеслась весть о ее победе, в городе состоялся митинг. И каково же было изумление собравшихся, когда они увидели на трибуне Асаила. Сбрав бороду и сменив бешмет на кожанку, бывший кантор призывал народ поддерживать большевиков. Он разоблачал буржуев и их прислужников — мулл и раввинов.

А потом — гражданская война. Борьба с беляками и буржуазными националистами. Побег в Царицын. Возвращение в Дербент. Работа в райкоме партии заведующим отделом пропаганды и агитации. Организация первых колхозов. Работа в газете.

Но вот пришел 1937 год. В райком поступило заявление о буржуазном националисте, «который обманном путем пробрался в партию и проводит подрывную, вражескую работу». Донос был состряпан Бебе Шамаиловым, но Асаилу, разумеется, ничего не сказали об этом.

Секретарь райкома Фомичев оказался порядочным человеком. Он досконально разобрался в деле, всесторонне и объективно изучил его и пресек клевету.

Но вскоре нагрянула беда. В газете, которую редактировал Асаил, появилась ошибка, нелепая и досадная. Второй секретарь райкома Танхум — дядя Бебе (Фомичев был тогда в отпуске) — вызвал Асаила на бюро и добился его исключения из партии, а затем и ареста. Просидел Асаил недолго. За недостатком улик его освободили, но в партии он так и не был восстановлен.

Тучи еще ниже осели над городом. И без того хмурый день еще больше посерел. Старик вздрогнул и прибавил шагу. По асфальту застучали крупные капли дождя.

Домой Асаил пришел до нитки промокшим. Но он не стал переодеваться, а так, как был, в намокшей одежде, сел за стол и принялся писать.

Он писал письмо в обком и ЦК.

Глава вторая

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ

Дождь не переставал. Теперь он моросил, мелкий и затяжной. Рахман сидел на веранде и задумчиво глядел на бурое, словно покрытое широкой темной шалью небо. Он мысленно разговаривал то с инструктором райкома Якубовым, то со стариком Асаилом, то с секретарем райкома Мамедовым, то с председателем колхоза Мукаилом, то со своим фронтовым другом Ахмедом, сыном бывшего председателя колхоза Адигезала. Ему хотелось, чтобы все эти люди по совести рассудили его: действительно ли он виноват, доверяя исключенному из партии человеку. Ответы были непохожими, как не схожи были люди, с которыми мысленно разговаривал Рахман. От этого он еще больше волновался, расстраивался и быстрыми шагами мерил веранду.

Вдруг Рахман остановился и попросил сына сходить за сигаретами.

Шамай растерялся, он знал, что отец не курит.

Удивился и Азиз:

— Что с тобой случилось, сынок? Ведь ты давно бросил курить.

— Не спрашивай, отец,— Рахман махнул рукой и спустился с веранды в сад.

Старик пристально посмотрел на сына, потом оглядел небо и предложил:

— Знаешь что, Рахман, пойди прогуляйся. Ты устал. Иди, сынок, скоро распогодится.

Рахман прошелся по саду и снова поднялся на веранду. Впереди за далью Каспия горизонт светлел. Из сероватой хмури туч неясно проглядывал расплывчатый контур солнца, отдаленно напоминающий огромный подсолнух.

— Иди, сынок, погуляй, погуляй.

Рахман вошел в комнату, надел пиджак, непромокаемый плащ и вышел на улицу. «Схожу-ка я к Ахмеду»,— решил он.

Ахмед жил в верхней части города, там, где живет

большинство дербентских азербайджанцев. Испокон веков, еще с седой старины, повелось так, что азербайджанцы селились в верхней части города, ближе к крепости, а таты в нижней, возле моря.

Рахман по пути зашел в магазин и купил несколько плиток шоколада — гостинцы для детей Ахмеда. Затем вышел на улицу Ленина, поднялся до колхозного рынка — прежде он назывался тахта-базаром — и прошел к школе имени Музахарья. Отсюда надо было свернуть к Джума-мечети, а там уже до Ахмедовых было рукой подать.

Впереди взметнулись ввысь массивные, непомерные в своей толщине стены старинной крепости Нарын-Кала. И неожиданно для себя Рахман изменил маршрут. Он решил подняться на крепостную башню.

Солнце, наконец, прорвало тучи и залило все вокруг радостным и щедрым светом.

С огромной высоты, словно с птичьего полета открылась широкая панорама города, размахисто шагнувшего далеко за пределы своих древних стен. Этот удивительный город, первые строения которого были возведены пятнадцать веков назад, имел поразительно ровные улицы и переулки, каменные, неповторимой архитектуры дома утопали в зелени акаций, чинар, тополей. Отсюда, сверху, он напоминал громадный самолет, широко взмахнувший могучими крыльями, нос его упирался в синий Каспий, а хвост — в крепость Нарын-Кала. Далеко к северу и югу от древних городских стен, у морского побережья и у подножья гор дымили заводские трубы. По ровным, прямым магистралям стремили свой бег автомашины, над старыми одноэтажными кварталами возвышались новые корпуса школ и клубов, жилых домов и административных зданий. А внизу, перехваченные узким поясом крепостных стен, стояли старая мечеть и полуразрушенный ханский дворец с бывшим гаремом и подземной тюрьмой.

Солнце уже достигало зенита, когда Рахман покинул крепость. У ворот он столкнулся с Адигезалом, отцом Ахмеда.

Адигезал с обидой посмотрел на Рахмана:

— Что ж ты к нам не зайдешь, дорогой? Ведь от крепости до нашего дома всего два шага.

— Адигезал-даи, я как раз к вам и собирался.

— Вот это дело. Тогда пошли, — обрадовался Адигезал.

Узкие кривые улочки верхней части города вывели их к дому Ахмедовых. Старик Адигезал постучая палкой в калитку:

— Ай, Сурия-ханум, ай, Вера-ханум, откройте!

Не успела распахнуться калитка, как на шее старика повисли две маленькие девочки с золотистыми косичками, голубыми глазками и круглыми белыми личиками.

— Эльмира, Людмила!— обрадовался Рахман и дал дочерям своего друга по шоколадке.

На веранде появился Ахмед.

— Рахман, как хорошо, что ты пришел,— он протянул другу обе руки.— Давай, давай, заходи.

Рахман не сводил глаз с детей. «Как они выросли и как стали похожи на мать...»

С матерью этих девочек — Верой — Рахман познакомился в Чехословакии в прифронтовом госпитале, где лежал после тяжелого ранения.

Это произошло в последний день войны. Погожим майским утром Рахман прогуливался по госпитальному парку. И вдруг остановился. За кустами звучал до невероятности знакомый голос:

— Поедемте со мной.

— У меня муж.

— Пусть, пусть. Что хотите делайте, но я вас не отдам. Я не в силах расстаться с вами, Вера.

Да, сомнений быть не могло. Это Ахмед. Рахман не видел друга с той поры, как уехал воевать.

— Ахмед!— вскричал Рахман и бросился в заросли.

От неожиданности Ахмед настолько опешил, что не мог сдвинуться с места. Он не в силах был произнести ни единого слова. И только придя в себя, спросил:

— Стало быть, ты жив?

— Как видишь.

— А ведь я получил письмо, будто ты пропал без вести.

— Как это так?

— Об этом нашим сообщил Юсупов. Помнишь его? Агроном из Наркомзема. Приезжал к нам в колхоз. Он теперь корреспондент фронтовой газеты.

Рахман взглянул на женщину в белом халате, с которой только что разговаривал Ахмед, и медленно, сию минуту что-то припомнить, спросил:

— Сестра, где я вас видел?

— Не знаю.

Подумав, Рахман вынул из кармана халата бумажник, достал из него фотографию:

— Посмотрите, не вы ли это?

Она взглянула и вздрогнула.

— Да, это я. А вот мой муж. Где вы взяли эту карточку?

— Мне подарил ее мой командир, капитан Орлов.

Вера разрыдалась.

— Скажите, как он? Что с ним? Ради бога, скажите.

Ахмед молчал, нахохлившийся, угрюмый.

— Не знаю. Я потерял с ним всякую связь. С тех пор, как меня тяжело ранило. Три месяца назад мы форсировали Дунай. Ночью, в темноте. Но немцы обнаружили нас и обстреляли из минометов. Меня ранило осколком. Очнулся в медсанбате. Оказывается, наша лодка перевернулась. Орлов тогда спасся. А где сейчас, не знаю.

Вера не отрывала глаз от карточки.

— Подарите мне ее,— чуть слышно попросила она.

— Берите. Ваш муж рассказывал, что вы остались в оккупированном городе и немцы угнали вас в Германию. Если бы вы только знали, как он переживал. Говорил, что после замужества, вы и месяца не успели побыть вместе, началась война...

— Ну, теперь я его разыщу.

Однако встретиться им было не суждено. Через неделю на запрос Веры пришел ответ. В нем сообщалось, что капитан Орлов пал смертью храбрых. Родители погибли, единственный брат тоже, и, когда Ахмед, демобилизовавшись, вновь предложил ей ехать вместе с ним в Дагестан, она, подумав, в конце концов согласилась.

Тихой звездной ночью прибыли они в Дербент. Город уже спал, загадочный и незнакомый.

— Мама, мама, вставай! — кричал Ахмед, барабаня в калитку родного дома.

В окне зажегся свет, хлопнула дверь, слышались торопливые шаги и голос, прерывающийся от слез:

— Ой, Ахмед, сын мой! Наконец-то я дождалась тебя... Теперь и умереть не жалко...

— Сын! Сын! Мой родной Ахмед,— вторил старухе Адигезал, поспешая вслед за женой к калитке.

Сурия-ханум, не выпуская из своих объятий сына, повела его к дому. Ахмед обернулся. Обернулась и старуха. В сером проеме калитки темнела на улице чья-то фигура.

— Кто это там?— спросила старуха.— Твой фронтовой друг?

— Это моя жена, мама. Познакомься, Вера.

— Что? Что ты сказал? Жена? — старуха опустила руки, отступила на шаг. Ни слова не говоря, она медленно поплелась по узкой каменной лестнице на веранду, села на стул и низко опустила голову.

Давным-давно, когда Ахмед был еще на фронте, Сурия-ханум приглядела ему невесту, обнадежила ее родителей, купила подарки — и вдруг такое. Если бы не радость свидания с сыном, она пренебрегла бы элементарными законами гостеприимства и не пустила б эту чужую русскую женщину в свой дом.

Старик Адигезал подошел к Вере, взял ее сумку, ласково сказал:

— Пойдем, пойдем, дочь моя, в дом,— и повел ее на веранду.

Вера сидела сама не своя. Руки двигались бесцельно и беспрестанно, и она никак не могла с ними совладать. Пальцы то сжимали, то разжимали носовой платок. Она не глядела на Ахмеда, но чувствовала, что и он нервничает.

Ахмед молчал и лишь исподлобья, тяжелым и неподвижным взглядом посматривал на мать, на ее угрюмое, злое лицо, на плотно сжатые губы, на сощуренные глаза.

«Ладно,— в конце концов решил он,— помолчу пока: все-таки мать, а там видно будет».

Один лишь Адигезал из всех сил старался рассеять сгустившийся мрак. Он ободряюще улыбался то сыну, то невестке, заводил с ними разговор о пережитом на фронте, расспрашивал о дороге, о том, как доехали, хвалил Дербент, уверял Веру, что она полюбит город. А Сурия-ханум все молчала. За весь вечер она так ни разу и не обратилась к Вере. И только перед тем, как всем встать из-за стола, Сурия-ханум коротко осведомилась у сына о здоровье.

Ночью старик подошел к кровати жены и тихонько проговорил:

— Ай, жена, зачем ты себя так ведешь! Зачем портишь сыну настроение!

Сурия-ханум лежала на спине, вперив неподвижный взгляд в потолок.

— Не разжигай огонь моего сердца, старый. Не черни и без того черную кровь мою.

— Ты держишься старых адатов. А сын — новый человек. Как-никак четыре года провоевал, много увидел, о многом передумал. Его не повернешь вспять. Он знает сам, что делает.

— И я знаю, — отрезала старуха и отвернулась к стене.

В ту ночь Вера ни на минуту не сомкнула глаз. Она, стараясь не разбудить заснувшего Ахмеда, лежала не шевелясь, и все тело ее онемело. Вера думала, думала, думала. Печально и не переставая. Чужой город. Чужие места, чужие нравы и обычаи. Чужой, непонятный язык. Какова будет жизнь? Что принесет? Вероятно, ничего хорошего...

Тьма за окном посерела. Сизый предрассветный сумрак неслышно вполз в комнату. На дворе звякнуло ведро. Вера вскочила с постели, вышла на веранду и по лестнице спустилась вниз.

— Мама, дайте я подою корову, — попросила она.

— Какая я тебе мама? Я не хочу, чтобы ты доила мою корову, — старуха повернулась к невестке спиной и неторопливой походкой направилась к хлеву.

Вера поднялась на веранду и здесь лицом к лицу столкнулась с Ахмедом. Он был бледен.

— Ты меня прости, Вера, — глядя в сторону, проговорил он. — Но поверь, все уладится. Надо лишь перетерпеть. Немного перетерпеть. А там все уладится. Я тебя уверяю. Не хочется обижать ее. Она старая. Потерпи немного. Ведь она добрая. Увидишь...

— Нет, Ахмед. Мне лучше уехать. И вам будет спокойнее. И мне. Тебя я не виню. Но оставаться здесь не могу. Поеду к себе, на Украину...

Она смолкла, испугавшись того, как подействовали ее слова на Ахмеда. Побелевший, с трясущимися губами, он стоял перед ней, пытаясь что-то сказать. И не мог. В больших черных, как спелые маслины, глазах его стояла такая жгучая боль, что Вера не выдержала и отвернулась. Внутри у нее что-то оборвалось. Тепло, большое благодатное и животворное, заполнило все ее существо. В этом тепле растворились и холод обиды, и горечь, и боль оскорбленного самолюбия, и тревога за будущее. Вера вдруг поняла, что, уехав, нанесет этому человеку, безмерно любящему ее, жестокий, непоправимый, а, главное, незаслуженный удар.

И она осталась. Но жизнь в доме еще долго не ладил-

лась. Вера была достаточно умна, чтобы понять, что в Дагестане, куда ее занесла судьба, больше чем где бы то ни было, младшему не пристало вести войну со старшим. Она поступилась самолюбием и, уповая на время, решила терпеть и ждать.

Ахмед меж тем пытался миром поладить с матерью. В этом ему усиленно помогал отец.

— Пойми, Ахмед не маленький,— терпеливо втолковывал он жене,— сам знает, что делает. Не навязывай ему свою волю. Ведь он любит Веру.

— Ну и пусть целуется с ней, а меня пусть не трогает. Запомни, мне нет никакого дела до нее!

— Да чтоб у твоего отца сгорел дом,— не выдержав, вспылил Адигезал,— разве тебе не жалко ее, бедняжку? У нее же здесь никого, кроме нас, нет. Да и на всем белом свете тоже никого. Она потеряла всех родных в войну. Ее бы обласкать, а ты глядишь на нее так, словно глаза свои наполнила ядом.

Но слова Адигезала не оказывали на Сурию-ханум никакого действия. Она по-прежнему не разговаривала с невесткой, не позволяла ей готовить обед, запрещала доить корову. Вере, поутру встававшей раньше всех, разрешалось только приносить воду, подметать двор и ставить самовар.

Сурия-ханум еще больше взлютовала, когда невестка родила дочку. «Ничего лучшего не могла придумать,— заявила старуха,— хоть бы мальчика родила». Два года спустя Вера родила еще одну девочку. Свекровь обрушила на невестку все запасы ругательств, какими располагала. Хотя внучки были прехорошенькими, сущие куколочки, Сурия-ханум не радовалась им. Она нянчила их, ходила за ними, но делалось все это с постной миной, злобно и раздраженно. Однако — странное дело,— когда внучки заболели, бабка не находила себе места. Если их мучил жар, она рвала на себе волосы. Ночи напролет, не смыкая глаз, просиживала у детской кроватки. Но как только дело шло на поправку, все начиналось сызнова. Она по-прежнему была сурова и неприветлива с девочками, неприязненна и враждебна к их матери. Так продолжалось долго.

Только после того, как Вера родила сына и Ахмед привез его из родильного дома, старуха бросилась к невестке, обняла ее и со слезами на глазах проговорила:

— Прости меня, дочь моя. Я старая, глупая, неуче-

ная. Пусть огонь и вода поглотят меня, если я снова буду портить тебе жизнь.

— Слава тебе, господи,— обрадовался Адигезал,— наконец-то, поумнела. Давно пора!..

— А где Вера?— спросил Рахман, отхлебывая ароматный азербайджанский чай, которым его угостила Сурия-ханум.

— На работе, сынок,— ответила старуха.— Сегодня ее смена, дежурит в больнице... А вы, мои красавицы,— обратилась она к внучкам,— тоже идите сюда,— Сурия-ханум усадила девочек за стол, налила им чаю, положила печенья.— А как твои детишки? Как мать себя чувствует?— спросила она Рахмана.

— Спасибо, все живы-здоровы,— рассеянно ответил Рахман, думая о чем-то своем. Ахмед заметил, что друг озабочен, но при стариках расспрашивать ни о чем не стал. Когда кончили пить чай, Рахман и Ахмед вышли на улицу.

Друзья поднялись на крепостную стену. Закурили.

— Ну, выкладывай, что за кошки у тебя на сердце скребут?

Рахман рассказал другу о всех злоключениях последних дней. Он кончил, Ахмед молчал, попыхивая сигаретой. Докурив ее до конца, заговорил:

— В потере урожая виноваты мы все: и ты, и Мукаил, и я. Так что в этом отношении критика правильна. И надо ее признать. Что так, то так. Мы могли бы собрать гораздо больше винограда.

— Значит, и ты меня обвиняешь,— с обидой произнес Рахман.

— Погоди, не горячись. Что правда, то правда, ты секретарь партийной организации. За то, что люди не вышли на работу, отвечаешь ты. И все мы, коммунисты, тоже отвечаем. Мы еще плохо работаем с людьми. Мало воспитываем их. Но винить тебя за то, что ты поручил Асаилу беседы, неправильно. Почему беспартийный не может провести антирелигиозную беседу? Да в конце концов, кто из татов Дербента лучше Асаила разоблачит раввинов? Я не говорю уже о том, что он честный человек. Вне всякого сомнения, честный. Я доверяю ему, целиком и полностью доверяю.— Он закурил новую сигарету.— А этого Бебе остерегайся. Не нравится он мне. Склочник и жулик. К тому же у него старые счеты с тобой из-за Хумор.

— Когда это было! Сколько воды утекло!

Ахмед усмехнулся.

— Люди, вроде Бебе, злопамятнее зулуса. Был бы он хорошим, пошел бы на фронт воевать. А то заручился фальшивыми справками, сфабриковал болезнь сердца и отсиделся в тылу.

— Да, ты прав, Ахмед. Этот тип ради мести не останется ни перед чем.

Прощаясь, Ахмед сказал:

— Ты был солдатом, Рахман. И вроде неплохим. Так будь солдатом и впредь. Как говорил наш старшина, свои ошибки исправляй, а врагу спуску не давай!

— Спасибо, брат.

Они крепко пожали друг другу руки и расстались.

По пути домой Рахман все время повторял: «Свои ошибки исправляй, а врагу спуску не давай!» Нехитрый, но броский солдатский афоризм понравился ему.

ЧЕСТЬ ИЛИ ДЕНЬГИ

Асаил проснулся среди ночи. От боли. Она была настолько жгучей, что он не выдержал и вскрикнул, резко, пронзительно. Так кричит человек, которого внезапно полоснули ножом.

Проснулась жена. Встревоженная, сонная, растерянная Евдит приковыляла к постели мужа и со страхом спросила:

— Что с тобой, Асаил?

— Ничего, спи.

— Но ты так ужасно кричал...

— Тебе почудилось. Во сне. Спи, спи...

Преодолевая боль, он лег на живот, чтобы не видно было лица. Евдит постояла, постояла и вновь легла. Асаил лежал тихо, и Евдит решила, что все это ей действительно пригрезилось. Успокоившись, она вскоре заснула. А старик встал, согрел воду, наполнил грелку и приложил к животу. Спасительное тепло подействовало. Боль постепенно унялась, и он уснул.

Наутро его разбудили крики:

— Бедный Нахум! Вай-вай, умер бедный Нахум,— голосили за окном.

Асаил встал, быстро оделся, вышел на улицу. В соседнем доме жил пожилой колхозник Нахум, первый в горо-

де шутник и весельчак. Правда, известен он был не только этим, но и неумеренным пристрастием к вину, которое теперь доконало его.

Около дома Нахума уже собрался народ. Со двора доносился напевный плач женщин. Их тонкие голоса выводили причудливый орнамент восточной мелодии. Мужчины стояли на улице, молча, с серьезными, сосредоточенными лицами. Тут же был и Азиз. Он кивком головы поздоровался с Асаилом. Поодаль от всех сидел на скамейке раби Хаим, коренастый крепыш с раскосыми глазами. В руках у него была толстая священная книга. Поглядывая то в нее, то украдкой на Асаила, он не без злорадства думал: «Вот ты какой стал! Допрыгался!»

Раби Хаима и Асаила связывали давние и сложные отношения. Началось все еще в семнадцатом году. Раби Хаим только что окончил духовную семинарию. Асаил служил кантором в синагоге. Однажды мужчины, как обычно, пришли в храм молиться. И не застали священнослужителя.

— Где кантор? — растерянно спрашивали они.

Время шло, а Асаил все не появлялся. Вдруг в синагогу вбежал Нахум. Еще с порога он закричал:

— Слушайте новость! Наш кантор раби Асаил сбрил бороду и отправился на митинг. Я сам его видел.

Все, кто собрался в синагоге, в том числе и молодой раби Хаим, поспешили на площадь. Ведь такое случается не каждый день.

Послушав речь Асаила, раби Хаим пришел в ярость.

— Вероотступник! — завопил он на всю площадь и ринулся домой к Асаилу. Разговора с отцом было достаточно, чтобы старый Яхья с проклятиями отрекся от сына, а мать слегла, тяжело заболев.

С той поры Асаил и Хаим стали смертельными врагами. Много лет спустя, после того как Асаила исключили из партии, раби Хаим на радостях отслужил благодарственный молебен. Вот почему теперь, в этот ранний утренний час, увидев Асаила, жалкого, плохо одетого, исхудалого и изможденного, он со злорадным удовлетворением отметил: «Допрыгался!»

Раби Хаим подозревал нескольких седобородых стариков, улыбнулся и, кивнув головой в сторону Асаила, сказал:

— Помните, как, бывало, пел Асаил в синагоге? Что твой соловей. Послушать его приходили не только иудеи,

но и магометане, даже православные... У вероотступника был отличный голос...

— Почему был? Асаил и сейчас прекрасно поет.

— Если бы только он согласился,— задумчиво проговорил высокий худощавый старик,— можно было бы со спокойным сердцем снова сделать его кантором... Знаешь что, раби Хаим, ты теперь наш главный раввин, тебе и решать. Но я бы предложил пригласить Асаила. Думаю, он с удовольствием согласится. Ведь ему сейчас некуда податься. Он очень плохо живет.

Раби Хаим прищурил свои маленькие косые глаза. «А что,— подумал он,— идея не так уж плоха. Если вероотступник вернется, мы выиграем, а коммунисты проигрывают. У него доброе имя. Люди уважают его и верят ему. Приход Асаила сулит всем нам огромную выгоду».

Мысли Хаима прервал громкий возглас, донесшийся со двора. Властный густой бас прокричал:

— Эй, женщины, кончайте плакаты! Потемнело небо. Того и гляди пойдет дождь. Пока всех не вымочило, надо выносить покойника.

Заунывные песнопения смолкли. Четверо молодых мужчин вынесли гроб. Траурная процессия двинулась вдоль улицы. Впереди со священной книгой в руках шел раби Хаим, в хвосте — Асаил и Азиз.

До кладбища было недалеко. Оно находилось у самого подножья гор, подле колхозных виноградников. Когда процессия подходила к кладбищенской ограде, начал накрапывать дождь. Кое-кто, воровато оглянувшись, повернул назад.

— Может, и тебе уйти,— предложил Азиз.— Ведь болеешь...

Асаил отрицательно качнул головой, поднял воротник и прибавил шаг.

Вскоре дождь перестал. Гроб с покойником опустили в могилу, засыпали землей, подровняли могильный холм. Раби Хаим воздел к небу глаза и принялся за молитву.

— Начинается,— раздраженно пробормотал Асаил

— Обычай, ничего не поделаешь,— разведя руками, ответил Азиз.

— Дикость! Вредные обычаи надо искоренять!— Асаил нахлобучил на лоб фуражку и покинул кладбище.

Прошло несколько дней. Как-то под вечер он сидел на скамейке перед своим домом и отдыхал.

— Добрый вечер!

К Асаилу приблизились два старика.

— Вечер добрый. Что нового, Шафадие?

— Слава богу, не жалуемся,— ответил Шафадие, приземистый старик, с белой, как вата, длинной бородой и маленькими, глубоко посаженными глазками, буравившими собеседника из-под огромной лохматой папахи, низко надвинутой на лоб.— Нам надо поговорить, Асаил.

— О чем?

— Мы пришли от общины.

— Зачем?

В разговор вступил другой старик, до этого он выжидательно молчал, перебирая четки. Рубанув ребром ладони воздух, старик решительно произнес:

— Чего тянуть резину! Надо брать быка за рога. Община предлагает тебе вернуться в синагогу, кантором.

— Что?! Да вы соображаете...

— Тише, тише, не шуми. Зачем шуметь, зачем волноваться,— примирительно проговорил Шафадие.— Что было, то сплыло. Община тебя простила. Ты, конечно, был коммунистом. Мы же будем считать, что ты им не был.

Асаил вскочил. Встали и старики. Он придвинулся вплотную к Шафадие, так, что услышал его дыхание— в лицо ударил запах табака, перемешанного с чесноком и винным перегаром.

— Да ты что, смеешься? Или издеваешься?

Шафадие отступил на шаг.

— Зачем же так, джан Асаил. К чему понапрасну чернить свою кровь? Всем известно, что ты уже много лет ходишь без партбилета. Тебя выставили из партии, втоптали в грязь. А мы тебе желаем добра. Подумай, сколько нам осталось жить на белом свете? Давай, джан Асаил, хоть перед смертью послужим богу и народу.

— Чего там рассусоливать,— недовольно прервал Шафадие второй старик.— Государство платит тебе гроши. Какие-то паршивые полтыщи в месяц. А синагога даст три тысячи. И ни копейки меньше. Это обещаю не я. Это обещает сам раби Хаим. Он не только отпустит тебе все грехи, но и установит твердый месячный оклад. Три тысячи рублей. Три тысячи, и никаких тебе налогов-малогов, ты только подумай!..

— Ну, как, по рукам?— широко улыбаясь, произнес Шафадие.

Асаил тяжело опустился на скамейку.

— Вон... вон... отсюда...

Старики не двигались, на их лицах ничего не отразилось, словно они ничего не слышали.

И вдруг Асаил почувствовал, что все его раздражение улеглось, а злоба исчезла. Он не сердился на этих людей, он их жалел. Ему стало жалко темных, ослепленных предрассудками стариков. Что они понимают в жизни, сызмала одурманенные и околпаченные раввинами? Им ли понять, что еще полвека назад, в духовной семинарии, презрев опасности, жестокие запреты и преследования, он избрал иную веру, единственную и справедливую, ту, что несет людям счастье. Служению ей он отдал все свои силы, а, если понадобится, отдаст и жизнь. И никаким горестям и невздам, лишениям и бедам не сбить его с однажды и навсегда избранного пути.

Асаил вздохнул, глубоко и облегченно.

— А теперь идите... ступайте по домам и не теряйте попусту времени... Раби Хаиму можете передать, что у него много денег, но мало ума. Свой намус, свою честь, свои идеи человек не продает.

Сгущались сумерки. Фиолетовый вечер все плотнее окутывал землю, поглощая предмет за предметом.

— Ай, Асаил, иди чай пить!

Это звала мужа старуха Евдит.

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

Напротив дома Бебе мальчишки посреди улицы играли в футбол. В воротах носился прыткий, как ртуть, низенький мальчуган с лицом, испещренным веснушками. Голова его маковым цветом рдела на солнце. Это был Шамаил — сын Бебе Шамаилова.

— Эй, ты, рыжий — красный, человек опасный, держи мяч, не зевай! — покрикивали ребяташки помладше, не допущенные к игре и толпившиеся на тротуаре.

— Ну, погодите, вы у меня схлопочете. Кончится игра — голову оторву, — приняв очередной мяч, пообещал Шамаил.

Нападающие усилили натиск. Один из игроков прорвался к воротам. Шамаил приготовился к прыжку. И вдруг:

— Ай, Шамаил, иди-ка сюда! — высунувшись из окна, позвала сына толстуха Либо.

Лишь на короткий миг мальчик скосил глаза в сторону матери, но этого было достаточно, чтоб мяч залетел в ворота.

— Гол! Гол! — с восторгом завопили болельщики. — Рыжего на мыло! Мазиле — касторки!

Красный от злости, Шамаил сжал кулаки и бросился на оскорбителей. Со свистом и гиканьем ребятишки пустились наутек.

— Ай, Шамаил, чтоб тебя бог забрал! Чтоб я из-за тебя волос лишилась! Когда же ты, наконец, будешь слушаться!

Шамаил с досадой плюнул, вытер рукавом вспотевшее лицо и побежал домой.

— Сколько раз тебя звать, — набросилась Либо на сына, но тут же резко снизила голос и перешла на свисгающий полусшепот. — Беги в город, за отцом. Опять этот пьяница запропал, пропади он пропадом! Поищешь возле кино. Если там не найдешь, сбегай на квартиру к Бенилу. Помнишь его? Тот самый, который тебе пугач подарил... Беги и без отца не возвращайся.

День уже клонился к вечеру, когда Шамаил привел отца домой. Ни слова не говоря, Либо протянула мужу телеграмму. Бебе распечатал ее, прочел: «Четвертого ноября встречай московским поездом старом месте тчк Танхум».

— Сукин сын! Сколько из-за него неприятностей. Понравилось паразиту ездить. Он гребет деньги, а я глотаю неприятности.

В комнату вбежала старуха Сенем, мать Бебе.

— Как тебе не совестно! Поносишь родного дядю. Моего единственного брата!..

Бебе снял фуражку, вытер потную лысину.

— Мама, когда дядю Танхума посадят за спекуляцию, кто опять пойдет его выручать? Ты? Нет, я пойду. Все заботы и хлопоты свалятся на мои слабые плечи.

— Да чтоб глаза мои ослепли, прежде чем я это увижу, — чуть не расплакавшись, сказала Сенем. — Неблагодарный, неужели ты забыл, что сделал для тебя дядя?

— Э, будет, мама, — досадливо отмахнулся Бебе.

Он с отвращением и тоской подумал о том, что поздней ночью придется ехать на станцию «Огни» встречать московский поезд, помогать дяде Танхуму тащить тяжелые чемоданы, грузить поклажу в машину, по-воровски, тайком переправлять в город.

«Ох, дяденька Танхум, дяденька Танхум! Каким ты был, и каким ты стал».

На гребне трагической волны тридцать седьмого года Танхум с головокружительной быстротой взлетел. И так же скоропалительно был низвергнут. События, происшедшие в Дербенте, помогли ему, малограмотному и недалекому, стать секретарем райкома. Но и коммунистам района понадобилось не много времени, чтобы раскусить Танхума. Как не оправдавший доверия, отставший от жизни человек, он был снят с высокого поста.

Жизнь Танхума напоминала заячий след на снегу, такой она была путаной. Сын бедняка, он и сам был бедняком, безнадежным, неудачливым, как говаривали в старину на Руси, бесталанным. Он рано осиротел и с малых лет только и знал, что мыкал горе. Родня, а она была состоятельной, вспоминала о мальчугане лишь тогда, когда он, изголодавшийся и оборванный, приходил с праздничными поздравлениями. Его жаловали обедками, торопливо одаривали обносками и выставляли за дверь под благовидным предлогом, а чаще всего без него.

Родственные чувства богатых благодетелей пробуждались лишь тогда, когда надо было обработать виноградники или убрать урожай. Тут посылали за Танхумом, и он на правах родственника работал за троих, получал втрое меньше наемного батрака.

Во времена НЭПа в Дербенте, словно по мановению волшебной палочки, пооткрывались частные магазины. Они росли, как грибы после дождя. День ото дня их становилось больше и больше. Один из богатых дядюшек, стремясь уменьшить налоги, придумал хитроумную комбинацию — записал свои многочисленные лавки на бедных родственников. Естественно, что к проведению этой операции был привлечен и Танхум. И вот вчерашний бедняк за небольшую мзду преобразился в коммерсанта.

Впрочем, он очень быстро понял, что втянут в грязную и недостойную игру. Танхум, — надо отдать ему справедливость, — нашел в себе мужество прийти в горфинотдел, открыто признаться во всем и разорвать фиктивный торговый патент.

А когда в Дербенте возник колхоз, Танхум одним из первых вступил в него и честным трудом завоевал всеобщее уважение.

Вскоре он подал заявление о приеме в партию. На собрании неожиданно разгорелся жаркий спор. Одни

возражали против приема, ссылаясь на нэпманское прошлое Танхума, другие, наоборот, хвалили его и ставили в пример, как передового колхозника. Правда, и эти смущенно сникали, когда с места неслись реплики о том, что, мол, бывшим торгашам не место в партии. Исход дела решил Асаил, присутствовавший на собрании в качестве представителя райкома. Он разъяснил истинную суть того, что в свое время произошло, и Танхум был единогласно принят в партию.

Тот, кто однажды отведал шашлыка из барашка, не довольствуется постной похлебкой. Пока Танхум был рядовым колхозником, он не сетовал на свою судьбу. Добросовестно трудился, работал, не жалея сил.

Но стоило ему занять кабинет секретаря райкома, с большим тэобразным столом, обитым зеленым сукном, с глубокими кожаными креслами, чьи сиденья так мягко пружинят, с двумя телефонами и секретаршей, мгновенно, по первому же звонку, появлявшейся в дверях, как недавнее прошлое показалось ему дурным сном, а физический труд невыносимо тяжелым и отталкивающим занятием.

Немудрено, что падение с руководящих высот он воспринял как катастрофу. Разумеется, о возвращении в колхоз Танхум и слышать не хотел. «Как же так можно,— рассуждал он,— из секретаря райкома да в рядовые колхозники. Это все равно, что с призового иноходца пересестись на ишака».

Бебе в то время заведовал винным подвалом колхоза. Он помог своему дяде вывезти несколько бочек вина в центральные области страны, где они были с крупной выгодой проданы.

Путь легкой наживы, хотя и скользкий, но накатанный. Ходить по нему неустомительно. Привыкнув же, сойти с него трудно.

Раз за разом Танхум все больше пристращался к поездкам. Теперь он регулярно отправлялся в далекие города, сопровождал вагоны с вином. Обратно же возвращался с товарами, дефицитными в Дагестане.

Так, шаг за шагом Танхум превращался в заправского спекулянта.

Однажды он сошел с поезда, нагруженный двумя огромными чемоданами.

Согнувшись под тяжестью ноши, Танхум трусил по перрону, когда к нему подошел милиционер.

— В чем дело? — бодрясь, небрежно осведомился Танхум.

— Прошу пройти в отделение.

— Вы не имеете права. Я только что вернулся из командировки...

— Гражданин, прошу следовать за мной.

Весть о том, что Танхума арестовали, разнеслась по городу мгновенно. Узнав о случившемся, старуха Сенем завывала в голос, рванула на себе волосы и рухнула на пол, к ногам сына:

— Спасай, спасай моего брата. Иначе я убью себя!

Бебе раскричался, набросился на мать, обозвал дядю безмозглым ишаком. Но делать было нечего. Он наспех оделся и побежал в город, к друзьям и знакомым.

В конце концов всеми правдами и неправдами ему удалось добиться того, что дядюшку Танхума отпустили с миром.

Из всего случившегося пострадавший извлек лишь один урок: надо быть осторожнее и осмотрительнее. Теперь часть закупленных товаров он отправлял по почте посылками на адрес сестры, тети, соседа. С остальным же багажом доезжал до станции Огни, либо до разъезда, а оттуда до города уже добирался машиной.

Отныне он ездил не один, а с Ханукой, сыном старого Эсефа. Обзавестись напарником ему посоветовал Бебе.

— С ним тебе будет удобнее.. Все-таки член партии, колхозник. Меньше будет придинок в пути...

Сенем накрыла на стол, принесла ужин, поставила графин с водкой.

— Не сердись, сынок. Поужинай — и в добрый путь.

Старуха искоса взглянула на невестку. Либо отвернулась к окну. По тому, как она передернула плечами, было ясно, что предстоящая поездка мужа ей явно не по душе. Либо была умна и хорошо понимала, что вояжи рано или поздно приведут Танхума к конечной станции, окна которой украшены решетками. Судьба дядюшки не очень ее волновала, зато будущее мужа тревожило. Но больше всего ее раздражало и злило то, что Бебе может пострадать ни за что, ни про что, как думалось ей. Ведь никакой выгоды от дядюшкиных коммерческих операций Бебе не получал. При всем своем уме Либо никогда не могла понять, как можно жертвовать собой ради другого, пусть самого близкого человека. Даже тогда, когда ее родной отец, торговавший в городе вином, приходил к Бебе за

помощью и советом, она, оставаясь с мужем наедине, настойчиво требовала:

— Не связывайся с отцом. Пусть заботится сам о себе. Знай, если он будет тонуть, так потянет и тебя на дно. Пораскинь умом. Найди подходящий предлог и выстави его из дому. Без шума, культурно и вежливо. Чтоб не было обиды и комар носу не подточил... Запомни, Бебе, умная осторожность — мать всех добродетелей. Глупый риск — отец всех пороков.

Но против Танхума она была бессильна. Сейчас Либо ничего не могла поделать. Даже облегчить свою душу бранным словом не могла. На каждое ее слово последовал бы шквал ругательств и проклятий. Недаром старая Сенем на весь Дербент славилась своим языком. Она была испытанным бойцом, в схватке с которым всякий был заранее обречен на поражение.

Либо никогда не теряла способности трезво соразмерять свои силы. А они были явно неравны, она хорошо это понимала. Бебе слишком любил мать и был слишком равнодушен к жене, чтобы в угоду ей не исполнить материнской воли. Так что Либо оставалось лишь молчать и смиряться.

Бебе выпил несколько рюмок водки и подобрел.

— Ладно, мать. Так и быть, поеду. Только ради тебя.

На станцию Огни он приехал задолго до прибытия московского поезда и, чтобы как-то скоротать время, направился в буфет. Здесь пахло пивом и селедкой.

— Пару пива, сто грамм сыра и порцию гороха.

Буфетчик, заспанный малый в несвежей белой куртке, накачал пиво, вздув пену на добрую четверть кружки, нарезал сыр, взял со стойки тарелку с горохом и, шаркая шлепанцами, принес заказ.

Бебе смахнул со стола огрызки хлеба, яичную скорлупу и кинул на буфетчика недовольный взгляд. Того это нисколько не смутило. Вытащив из кармана носовой платок и смачно высморкавшись в него, он, все так же шаркая, вернулся за стойку.

— Ва, Бебе! Какими ветрами тебя занесло?

В буфете появился Салман, заведующий мучным складом в поселке Огни.

— Здорово! Садись пиво пить... У меня тут дело. А ты почему так поздно здесь?

— Только с работы. Задержался на складе. Была ревизия. Приезжал представитель уполминзага. Ты его дол-

жен знать. В свое время старик был большим человеком.

— Асаил Бинаев?

— Он самый.

— Ну и как, поймал? Обнаружил недостачу?

— Не на того напал,— Салман подмигнул и заливисто расхохотался.— У нас, как в аптеке, полный ажур, с точностью до единого грамма. Старик даже похвалил. Молодец, говорит, действуй и дальше в таком же разрезе.—Он со смаком отхлебнул пива.—Я так обрадовался, что решил отблагодарить старика. Когда он закончил ревизию и подписал документы, я возьми да и ляпни: «Асаил-даи, давайте я вам отсыплю немного муки. Килограммчиков десять-пятнадцать. Детям на хинкал...» Ты бы посмотрел, что с ним стало. Вай-вай-вай, как разорется: «Харрамзада, молокосос, плут! Хочешь купить меня! Норовишь взятку всучить!» Я, признаться, опешил. «Какая там взятка, Асаил-даи, просто хотел удружить твоим детишкам, подкинуть муки на хинкал». А он еще пуще разоряется: «Чей это склад, твой? Чья это мука, твоя? Ты эти штучки брось, бесхвостый ишак! Мука государственная, народная, заруби это себе на носу! «Детишкам на хинкал!» Да я тебя за такие слова сволоку в милицию!» Боже ты мой, только этого мне не хватало... Я и так, и сяк. Еле успокоил старого черта... Вот такие дела, земляк.

— Так тебе и надо,— наизидательно проговорил Бебе.
— Знай, кому давать и с кого брать.

— Клянусь аллахом,— осклабился, показав ровные белые зубы Салман,— такого бешеного старика я еще в жизни не видел.

— Ничего, это тебе наука. Будешь наперед умнее!

Салман отправил в рот пригоршню гороха, поблагодарил за угощение, встал, попрощался.

Бебе вышел на перрон. Здесь было тихо и тепло. Где-то за путями прокукарекал петух.

Из здания вышел дежурный по станции и зазвонил в колокол.

— Какой прибывает?

— Московский.

Бебе засуетился, выбежал на станционную площадь. Возле калитки, ведущей на платформу, стоял грузовик. В кабине спал шофер, уткнувшись в баранку руля.

— Чья машина? — растолкав шофера, спросил Бебе.

— Совхозная.

— В город подвезешь?

— Почему бы нет.

— Подожди до поезда. Сейчас прибудет. Подкинешь вещички.

— Не пойдет. На каждом шагу контроль. Проверяют путевки и путевые листы. Застукают с грузом, тогда полная хана.

— Даш-баш получишь. Солидный. В обиде не останешься.

— Эх, была-не была,—махнул рукой шофер.—Где наша не пропадала. Только вот что, я отъеду в сторонку. Туда вон, за тот большой дом. Видишь, где горит фонарь.

— Ладно.

Послышался протяжный свисток. Бебе бросился на перрон. Вдалеке возник из тьмы светящийся глаз. Он все рос и рос. И вот уже, пыхтя и рыча, обдавая запахом масла и металла, паровоз проскочил станцию и, лязгнув вагонами, остановился у водокачки.

Бебе скользнул взглядом вдоль состава. Никого. Перрон пуст. Лишь вдали, у паровоза, чернела одинокая фигура дежурного по станции. Он махнул фонарем, и поезд отправился. Когда последний вагон, печально мигнув на прощанье красным огоньком, скрылся за поворотом, на перроне выросли два чемодана, а за ними показался человек. Озираясь по сторонам, он влез на высокую платформу, встал на ноги и помахал рукой. Это был Танхум.

— А где Ханука?

— Там,—не оборачиваясь, кивнул в сторону путей Танхум,—мы высадились с тыла.

Танхум сиял. Он был очень горд своей хитроумной выдумкой.

— Идиоты. Конспираторы. Хорошо еще, что никто не видел.

Бебе с трудом взвалил на плечо чемодан.

— Я пойду, а ты погоди. Выходить будем по одному. В случае чего, я тебя знать не знаю. Понятно?

— Подождем Хануку.

— Нагонит.

— Как дома, все в порядке? — еле переводя дыхание, спросил Танхум, когда они подошли к машине.—Как детки? Как мать? Не болеет?

— Все в порядке,—сквозь зубы процедил Бебе.

Подошел Ханука, широкоплечий, румяный мужчина с черными усами и круглыми, наглогато поблескивающими глазами.

— Ну, вот мы и дома,— проговорил он и поставил чемоданы на мостовую.— Я вижу, у тебя полный порядок, Бебе. Встреча организована на высшем уровне... А это что за драндулет? За нами?

— Не звони. Шофер торопится.

Они погрузили вещи. Бебе сел в кабину, Танхум и Ханука забрались в кузов. Шофер включил газ. Машина взревела и понеслась, рассекая ночную мглу.

— Куда?— спросил шофер, когда подъехали к новому поселку у Кафари-Капы.

Бебе назвал свой адрес. Ехать прямо к Танхуму он не решился, опасаясь, что за Танхумом следят.

Сенем встретила их громкими рыданиями. То были не слезы радости, благостные и очистительные. То были слезы, выплескивающие злость, накопившуюся за долгое время, горькие, как полынь, и тяжелые, как свинец.

— Вай, вай, лучше бы мне умереть, чем так страдать и мучиться,— пронзительно противным голосом причитала она.— Лучше бы мне не видеть белого света, чем увидеть родного брата опозоренным. Лучше бы мне лечь в могилу, чем бессонными ночами лежать и думать, что он уже сидит за решеткой. Лучше бы мне...

Бебе устало проговорил:

— Хватит, мама. Твой брат цел и невредим. Чего тебе еще надо?

— Ладно, ладно, сестра,— примирительно затараторил Танхум.— Не убивайся, я пока еще жив. Пусть лучше подохнут мои враги и милиционеры. Ты только посмотри, что я вам привез. Ну-ка, открой зеленый чемодан,— велел он Хануке.

Тот встал, раскрыл чемодан и вынул коричневые детские ботинки. Их кожа искрилась веселым гляncем.

— Ну, как?

— Хороши! Ой, до чего ж хороши.

— То-то же. Это для моего племянника Шамаила... А это тебе, сестра,— он взял у Хануки теплый оренбургский платок и передал сестре.

И, странная вещь, Сенем, за минуту до того плакавшая навзрыд, повеселела. Укутавшись в мягкий, как пух, платок, она сияла радостной и счастливой улыбкой. Уж так сильна власть вещей над людьми. «Спасибо, родные, спасибо, милые!»

А в соседней комнате лежала Либо. Шум голосов разбудил ее. Привстав на локте, она прислушивалась

к разговору и мысленно слала проклятия и Танхуму и Хануке. «Дай вам бог тяжелой смерти, шакалы бесхвостые. Тянете нас в беду, чтоб вас черти в ад потянули. А если в дом нагрянет милиция, что тогда?»

Она закашлялась. Из соседней комнаты потянуло дымом, едким и смрадным. Это Танхум закурил свою неизменную трубку, набитую самосадам. Слышно было, как зазвенели стаканы, забулькала жидкость. Мужчины пили вино. Сенем на радостях расщедрилась и выставила целую четверть.

Когда бутыль была опорожнена, Бебе проговорил:

— У меня с тобой, Ханука, разговор,— он покосился на дядю,— деловой, серьезный, с глазу на глаз.

— Секретничать? Родному дяде не доверять,— срывающимся голосом, с трудом выговаривая слова, забормotal Танхум. Он был уже изрядно пьян.

Бебе даже не взглянул в его сторону. Молчал он и всю дорогу, пока вместе с Ханукой провожал Танхума. Только после того, как за дядей захлопнулась калитка, он заговорил. Хотя говорил он негромко, голос звучал гулко на улице, притихшей в ночи.

— Вот что, Ханука. На этой неделе в вашем колхозе состоится отчётно-выборное партийное собрание. Ты знаешь, у меня всюду есть уши. Так вот, в райкоме недовольны Рахманом. Очень недовольны. Зарвался он, потерял бдительность. Есть мнение — освободить. Думаю, ты, как дисциплинированный член партии, сделаешь соответствующие выводы.

— Какие? — Ханука во всем, что не касалось коммерции, сообразительностью не блистал.

— Какие, какие,— передразнил Бебе, но тут же сдержался и с кроткой терпеливостью стал разъяснять:— Целиком и полностью поддержишь райком. Выступишь на собрании против Рахмана.

— Насчет этого будь спокоен. За мной дело не станет.

Ханука давно точил зуб на секретаря. В прошлом году его вызвали на партийное бюро и в течение получаса отчитывали при всем честном народе. «К лицу ли тебе, коммунисту,— говорил Рахман,— увиливаешь от работы в колхозе и разъезжаешь по стране с вином. Ты подаешь дурной пример. Смотри, все это для тебя плохо кончится».

Прямых доказательств того, что Ханука, сопровождая

вагоны, занимается спекуляцией, не было. Поэтому все ограничилось вызовом на бюро. Тем не менее Ханука пережил немало неприятных минут. Он поспешил покаяться, признал свои ошибки, поблагодарил за критику и тут же поклялся про себя при первом удобном случае отомстить Рахману.

Теперь этот случай представился.

Он остановился, закурил, взял под руку Бебе, и они зашагали дальше по темным и пустынным улицам.

— Да, давно пора покончить с этим типом.

— Все зависит оттого, как на собрании поведут себя коммунисты.

— Как райком скажет, так и поведут.

— Так-то оно так, но у него немало сторонников.

— А мы сделаем так, что все сторонники замолчат в тряпочку,— Ханука верил в свои силы.

Дойдя до перекрестка, они распрощались. Каждый пошел своей дорогой.

Придя домой, Бебе снял сапоги, взял их в руки и на цыпочках, чтобы не разбудить мать, прошел в спальню.

Здесь стояла спокойная тишина. Либо спала.

Бебе обрадовался. Всю дорогу, куда он шел домой, его не покидало неприятное ощущение чего-то неотвязно сосущего. Что это и откуда оно пришло, он, как ни силился, не мог понять. Казалось бы, все устроилось наилучшим образом. Танхум благополучно высадился, с Ханукой удалось легко и быстро договориться. И все же неприятное чувство ни на минуту не оставляло Бебе. И только сейчас оно исчезло, уступив место успокоению. Оно исчезло потому, что Бебе вдруг понял, чем это чувство рождено—ожиданием тягостного разговора с Либо, смутным ожиданием попреков, криков, рыданий.

Либо спала, и это было хорошо, ибо что может быть хуже семейной сцены, когда человек желает лишь одного покоя. В комнате было душно. Бебе подошел к окну и растворил его. В спальню ворвался холодок. Он прогнал тяжелую, застоявшуюся смесь прогорклого табачного дыма и притворно душистого запаха косметики. Косметические средства были слабостью Либо. Она употребляла их в невероятном количестве, наивно надеясь в какой-то мере скрасить свою внешность.

Обычно это вызывало едкие и оскорбительные замечания мужа: «сколько корову ни мажь, все равно короной останется», «трухлявый дом не спасешь штукатур-

кой». Но сейчас он был настолько доволен, что оставил без внимания косметические буйства жены.

Бебе быстро разделся и юркнул под одеяло. Приятное тепло супружеской постели обьяло его, расслабило и мягко повлекло к той невидимой черте, за которой начинается сонное забытие. Еще минута — и он бы уснул, да вдруг почувствовал, как рядом с ним, вплотную с его спиной, содрогается спина Либо.

Первым его намерением было притвориться спящим. Но рыдания Либо не прекращались. Если бы она кричала, бранилась, шипела, он хитростью, а быть может, грубостью, принудил бы ее замолчать. Но она только плакала. И это беззвучное горе, ни к кому не взывающее, отчаянно безответное, лишило его привычных средств самозащиты. Он вдруг почувствовал жалость, обезоруживающую жалость к человеку, находящемуся рядом, беззащитному, одинокому, брошенному на произвол.

Бебе повернулся к жене и погладил ее по щеке.

— Ну, ладно, ладно, Либо... Все обошлось... И все будет в порядке... Не волнуйся, никакая милиция нас не заметила, — он искал успокоительных, ласковых, добрых слов, а находил какую-то чушь, глупую и пошлую.

— Тебе нет никакого дела до нас. У тебя семья... Ты не думаешь о ней. Тебе наплевать на всех нас. Иначе ты не стал бы связываться ни с дядей Танхумом, ни с этим прохвостом Ханукой...

Она с трудом, сквозь слезы и рыдания выговаривала эти слова, хотя все они ни на иоту не выражали того, что она чувствовала, что должна была и не могла выразить. А должна она была сказать лишь несколько слов, простых и мудрых, — нельзя жить годами вместе, не любя другого и помыкая им.

И потому, что она не находила нужных слов, в ней нарастало новое чувство, тяжелое и злобное.

— Ты эгоист. Ты разбил мою жизнь. Лучше бы мне умереть, чем так жить.

Чем больше она злобилась, тем меньше жалел ее Бебе. Теперь и в нем начинала вскипать злость. Чтобы подавить ее, он сделал последнюю попытку: протянув руку, приласкал грудь жены, большую, расплывшуюся, слабо вздрагивающую под его пальцами, как оттаивающий студень.

— Отстань! Не трогай меня! — взвизгнула Либо и вскочила с постели. Тяжело прошлепав босыми ногами

по полу, она подошла к прикрытой тюлевой занавеской нише, достала ватный матрац, бросила на пол и легла.

— Подумаешь, наказала. Очень ты мне нужна. Тоже мне лакомый кусочек.

— Я знаю, я знаю, что я тебе не нужна,— неожиданно оскорбилась Либо.— Я прекрасно знаю, что у тебя хватает баб!..

Разгорался обычный скандал. Приглушить его было для Бебе привычным, пустяковым делом.

— Укороти свой язык, разбудишь мать,— он знал, чем пригрозить. Либо мгновенно смолкла. Лишь время от времени доносились ее глухие всхлипывания, но Бебе уже не обращал на них ни малейшего внимания. Он думал о своем, перебирая в памяти прошлое и настоящее. Всплывали лица, одно не похожее на другое. Но ко всем людям Бебе относился одинаково холодно и равнодушно. Все были ему абсолютно безразличны. Они существовали лишь постольку, поскольку в данный момент были ему нужны, либо постольку, поскольку в данный момент он должен был с ними бороться. И лишь один человек оставил в его жизни неизгладимую борозду — Хумор, та самая Хумор, что презрела и отвергла его любовь, ради своей любви к Рахману, пронесенной сквозь свирепые бури войны. И сейчас, в этот рассветный час, когда ночная тьма сменяется зыбким предутренним сумраком, пред мысленным взором Бебе встала Хумор, гибкая, вечнo юная, с высокой грудью и тонкой, девичьей талией.

Он попытался представить ее нагой. И не смог. Это огорчило и опечалило его. И тогда в воображении возникли другие женщины, которых он близко знал— пышнотелая блондинка Тамара из ресторана, черноокая вдова Аснат...

Воскресив в памяти пережитое, Бебе незаметно для себя успокоился и вскоре заснул.

ПОКА НЕ ПОЙМАН ВОР

Небольшой зал колхозного клуба был переполнен. Несмотря на то, что все окна были распахнуты, в зале было душно. Хотя уже наступила глубокая осень, на дворе стояла теплынь. Через широкие окна было видно, как по небу медленно проплывали одинокие облака — белые подвижные островки среди нежно-голубой спокойной лазури.

Рахман заканчивал отчетный доклад. По тому, как слушали люди, по тому, как блестили их глаза, он видел, что слова его не оставили их равнодушными. Неудивительно: доклад был деловым, конкретным, нелицеприятным. Он затрагивал насущные вопросы жизни колхоза, волновавшие каждого. Рахман напрямую говорил о недостатках, не щадя никого, в том числе и себя.

— Во всех наших недостатках,— заключил он,— повинны члены партийного бюро и прежде всего я, секретарь партийной организации. Думаю, вновь избранное бюро учтет наши ошибки и промахи, исправит и устранил их.

Люди слушали внимательно, заинтересованно, в этом Рахман не ошибался. Он не понял другого — каждый воспринимал услышанное по-своему и диаметрально противоположно оценивал его. Ахмед, к примеру, на заключительную фразу прореагировал так: «Молодец, правильный вывод сделал».

Совсем иначе расценил ее Ханука: «Хитер, сукин сын, хочет отвести от себя критику. Шалишь, этот номер не пройдет. Не на таких напал».

Ханука вскочил и выкрикнул с места:

— Товарищ Рахманов, не морочь нам голову. Не создавай видимость самокритики, лучше скажи, и честно, по-партийному, скажи, с кого спросить за огромные потери при уборке урожая? Подумать только, сколько вложили труда и сколько винограду пустили ишаку под хвост!

Кровь прилила к лицу Рахмана. Кто бы другой говорил, а то Ханука — перекаати-полё, кочевник, готовый хоть на край света уехать, только бы не работать в колхозе.

— Товарищ Ханука, у русских есть пословица — чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.

Не успел он этого сказать, как понял, что допустил оплошность, — попал в капкан, поставленный Ханукой.

— Вай, вай, вай, товарищ Рахманов, — Ханука сиял от удовольствия, — ты что, хан, бек, шах, падишах? Это они запрещали критиковать себя.

По залу прокатился неодобрительный шумок. Председательствующий Мукаил постучал карандашом по столу.

— Товарищ Ханука, сначала вопросы, а потом уж выступления. Начнутся прения, возьмете слово.

— Я отвечу,— сказал Рахман.— В работе партийного бюро было немало недостатков. Я уже говорил о них. Мы, конечно, виноваты. Но одни ли мы? Вот ты, товарищ Ханука, ты, коммунист, чем ты помог партийному бюро и колхозу? В самую трудную пору, в разгар уборки бросил дело и поехал на Дальний Восток торговать виноградом. А твой отец, старый Эсеф, он что сделал? Вместо виноградаря отправился в синагогу. Вот ты и ответь, кто прав и кто виноват?

— Это не ответ, товарищ Рахманов,— сквозь зубы процедил Якубов. Прямой и каменно неподвижный, сидел он в президиуме, олицетворяя собой настороженную подозрительность.— Здесь отчитывается не товарищ Ханука, а партийное бюро. Вот о его работе и следует говорить.

«Что он на самом деле, не знает, что ли, куда гнет Ханука?»— досадливо поморщился Ахмед.

Не понравилась реплика Якубова и Мукаилу, но он тоже промолчал,— как-никак инструктор райкома. Ему лучше знать, в какую сторону гнуть. Мукаил облегченно вздохнул, когда со своего места поднялся старик Адигезал.

— Прошу вас, Адигезал-даи.

— Скажи, пожалуйста, товарищ Якубов,— начал старик, он заметно волновался,— неужели тебе ничего не известно о делишках Хануки. Я думал, райком поругает партийное бюро за мягкотелость, а ты, наоборот, ополчился на Рахмана. Как думаешь, зачем здесь выступил Ханука? Чтобы отвести от себя удар. Как говорится в народе, пока потерпевший не успел поймать вора, вор норовит поймать потерпевшего.

— Я не вор! Воры другие! — крикнул Ханука.

В зале поднялся невообразимый шум. Мукаил с трудом навел порядок.

— Товарищи! Тихо! Тихо! Товарищи! Есть еще вопросы к докладчику?

— Есть. Кто из колхозных агитаторов проводил беседы на антирелигиозные темы?

«Вот он, еще один капкан»,— подумал Рахман.

— Наши колхозные агитаторы, товарищ Якубов, к сожалению, не подготовлены к проведению антирелигиозных бесед.

Якубов ядовито усмехнулся, одними губами, глаза остались холодными и пронзительно недоверчивыми:

— Чтобы из всей армии коммунистов нельзя было подобрать нескольких агитаторов... Странно, в высшей мере странно. Впрочем, допустим, вы правы. Но разве это дает основание передоверять воспитательную работу кому попало, всяким чужакам?

— Кого вы имеете в виду? — угрюмо бросил Рахман.

— Вам лучше знать.— Якубов пожал плечами и что-то записал на бумажке.— Впрочем, прения еще не начались, прошу прощения.

— Ничего, ничего, пожалуйста,— из реплики Якубова Мукаил уловил, что райком настроен против Рахмана и принялся соображать, как вести себя дальше, чтобы не попасть в незавидное положение человека, не угодившего, и хуже того, неугодного начальству. До сих пор он считал Рахмана хорошим секретарем, вполне достойным переизбрания.

Чтобы скрыть свое замешательство, Мукаил поспешил объявить прения открытыми.

Ханука, Якубов и некоторые другие ораторы резко критиковали бюро и секретаря. В их речах было немало горького, но справедливого, с чем нельзя было не согласиться. Но не меньше, а может, и больше было злобной демагогии. На этом собрании, явно направляемом Якубовым, совершенно неожиданно раскрылись люди. То дурное, что в некоторых лежало под спудом, всплыло. Больше всех поразил Рахмана бригадир соседней бригады Рамазан.

— Я прямо скажу,—заявил он,—Рахман возгордился, у него от успехов закружилась голова. Поэтому вся воспитательная работа запущена.

— Это ложь! — выкрикнул с места Ахмед.— Разве в нашем колхозе...

Якубов нахмурился. Мукаил,— он все время поглядывал на Якубова, следя за его реакцией,— резко постучал карандашом по столу и оборвал Ахмеда.

— Не перебивай меня, товарищ Ахмедов,— продолжал Рамазан.— Учись слушать правду, хотя она и колет глаза. В угоду приятельским отношениям ты замазываешь ошибки Рахмана.

И Рамазан с новой силой обрушился на секретаря.

— Правильно! Правильно Рамазан говорит! Молодец! Вот это да! Вот это по-партийному! — радостно кричал с места Ханука, и Мукаил уже не призывал его к спокойствию.

— Нет, неправильно! — раздался громкий возглас из зала. По проходу, слегка прихрамывая и опираясь на палку, шел старик Адигезал. — Правильно, что в этом году мы потеряли часть урожая. Но разве только один Рахман виноват в этом? Почему Мукаил тихонько кивает головой на речи Хануки и Рамазана? А где был он? Где было правление? Разве они не отвечают за работу? Надо найти в себе мужество и смело признать и свою вину. А не отыгрываться на секретаре партбюро.

Старик, хромя, покинул сцену.

Мукаил вытер цветным клетчатым платком вспотевший лоб. Он рассчитывал отмолчаться на правах председателя собрания, однако после выступления Адигезала увидел, что это невозможно.

Мукаил говорил медленно, осторожно, старательно подбирая слова, выбрав, дважды, а то и трижды повторял те, что заканчивали фразу. Он напоминал человека, переходящего ручей по камням: ступит на камень, постойт, потрогает протянутой ногой соседний и, только уверившись в его надежности, двинется дальше.

Он не стал спорить с Адигезалом. Напротив, признал критику в свой адрес правильной. Он даже произнес несколько покаянных фраз по поводу того, что выдал Хануке справку и отпустил в самый разгар уборочных работ.

Но он не стал возражать и Хануке с Рамазаном в их нападках на Рахмана. Словом, действовал согласно половице — «чтобы не сгорел ни шашлык, ни палочки».

Когда началось выдвижение кандидатур, Якубов снова напомнил об ошибках Рахмана. И все же коммунисты настояли на том, чтобы его фамилию внесли в список для тайного голосования.

В результате в новый состав бюро вошли Рахманов, Ахмед, Мукаил...

Собрание закончилось. Все разошлись. Остались члены бюро. Они собрались на сцене, за столом президиума. Прежде торжественный и нарядный, он теперь выглядел жалким, с бесстыдно оголенными ножками и черной доской, исполосованной щелями, трещинами и царапинами. Заведующий клубом, уходя, стянул со стола шелковую красную скатерть с длинной бахромой и запер в шкаф.

Якубов, — он, как представитель райкома, вел заседание, — с места в карьер, чтобы опередить других, предложил избрать секретарем Ахмеда.

— Это зачем же,— вскинулся Ахмед.— Рахман ничем себя не запятнал. Ему и быть секретарем. Тем более, что у него богатый опыт.

— Вот-вот, пусть и поделится им. Против товарища Рахманова мы ничего не имеем. Он вполне может быть заместителем. Надо же и другим поработать...

Члены бюро не стали возражать. Секретарем избрали Ахмеда, заместителем Рахмана. На том и разошлись.

На улице уже было совсем темно. По черному небу неслись рваные облака. Заметно похолодало. С моря дул резкий ветер. Он рвал с деревьев сухие листья, и они, печально шурша, кружили по земле.

— Да ты никак обиделся? — поравнявшись с Рахманом, участливо спросил Якубов.

— За что?

— За то, что не выбрали секретарем.

Рахман не видел в темноте его лица, но чувствовал, что Якубов сверлит его глазами, с нетерпением ожидая ответа.

— Разве пост секретаря партбюро является пожизненным?

— Молодец, правильно оцениваешь,— вяло протянул Якубов. Он был явно разочарован.

Дальше шли молча. Слышно было, как под ногами шелестит палый лист.

— Чего молчишь?— наконец не выдержал Якубов.

— О чем еще говорить. На собрании все сказано-пересказано.

— Ты несколько не так понял меня.

— Вам в какую сторону?

— Направо, а тебе?

— Мне в противоположную...

Рахман направился не домой, а на вокзал. «Зайду в ресторан,— решил он,— может, привезли свежее пиво».

Час был поздний, и ресторан оказался закрытым. Рахман постучал в дверь. Никакого ответа. Снова постучал, теперь сильнее. То же самое. Он забарабанил кулаками. За дверным стеклом показался швейцар, высокий худощавый мужчина с черной эспаньолкой, торчащими в разные стороны острыми концами усов, в униформе, обшитой золотыми галунами.

— Чего ломишься, не видишь — закрыто! — прокричал он сквозь стекло, свирепо вращая белками и топорща усы.

Рахман выругался про себя и пошел прочь. Его оставил окрик.

— Эй, эй, стой! — кричал усач. — Ты, видать, сын Азиза, а?

Рахман обернулся и кивнул головой.

— Вай, вай, так бы сразу и сказал. Я же его первый друг, Хизгия. Не слышал? Тем хуже для тебя... Ну-ну, проходи, — он пропустил Рахмана вперед и запер дверь на ключ и на массивный крючок.

В ресторане было пустынно. На безлюдных столиках сиротливо белели скатерти, тускло посверкивали металлическими крышечками солонки и перечницы. За высокими окнами нескончаемо грохотал проходящий товарный состав.

Рахман направился к буфету и вдруг остановился, как вкопанный, посреди зала.

За столиком, в углу, сидел человек с сильно поредевшими, некогда курчавыми волосами. У ног его стоял небольшой дорожный чемоданчик. Занятый едой, он не видел Рахмана. Когда тот подошел и окликнул его: «Юсупов!» — он выскочил из-за стола и сгреб Рахмана в объятия.

— Вот тебе на, — с мягкой укоризной проговорил Рахман, — ты в Дербенте и даже не показался на глаза.

— Да ты не обижайся, я и в городе-то не был. — Юсупов усадил Рахмана за столик, налил из графинчика водки. — Я проездом из Касумкента, ездил по срочным делам. Меня подбросили на колхозной машине до станции, а через час и поезд подойдет.

Он окинул взглядом зал и поманил официантку. Она подошла, украдкой позевывая в кулак.

— Принесите что-нибудь товарищу.

— Ресторан закрыт.

— Дорогушенька, выручайте. В честь встречи фронтовых друзей.

— Что с вами поделаешь, — девушка вздохнула и приняла заказ.

Рахмана с Юсуповым связывала не только война. Они знали друг друга еще с тех давних лет, когда мальчишками повстречались в лесу под Кулларом. Случилось это вскоре после окончания гражданской войны. Азиз, гонимый голодом, собрался на село убирать хлеб, и Рахман увязался за ним. Как ни отговаривал отец, — в те годы в деревне лютовали кулаки и поездка была далеко не

— Это зачем же,— вскинулся Ахмед.— Рахман ничем себя не запятнал. Ему и быть секретарем. Тем более, что у него богатый опыт.

— Вот-вот, пусть и поделится им. Против товарища Рахманова мы ничего не имеем. Он вполне может быть заместителем. Надо же и другим поработать...

Члены бюро не стали возражать. Секретарем избрали Ахмеда, заместителем Рахмана. На том и разошлись.

На улице уже было совсем темно. По черному небу неслись рваные облака. Заметно похолодало. С моря дул резкий ветер. Он рвал с деревьев сухие листья, и они, печально шурша, кружили по земле.

— Да ты никак обиделся? — поравнявшись с Рахманом, участливо спросил Якубов.

— За что?

— За то, что не выбрали секретарем.

Рахман не видел в темноте его лица, но чувствовал, что Якубов сверлит его глазами, с нетерпением ожидая ответа.

— Разве пост секретаря партбюро является пожизненным?

— Молодец, правильно оцениваешь,— вяло протянул Якубов. Он был явно разочарован.

Дальше шли молча. Слышно было, как под ногами шелестит палый лист.

— Чего молчишь?— наконец не выдержал Якубов.

— О чем еще говорить. На собрании все сказано-пересказано.

— Ты несколько не так понял меня.

— Вам в какую сторону?

— Направо, а тебе?

— Мне в противоположную...

Рахман направился не домой, а на вокзал. «Зайду в ресторан,— решил он,— может, привезли свежее пиво».

Час был поздний, и ресторан оказался закрытым. Рахман постучал в дверь. Никакого ответа. Снова постучал, теперь сильнее. То же самое. Он забарабанил кулаками. За дверным стеклом показался швейцар, высокий худощавый мужчина с черной эспаньолкой, торчащими в разные стороны острыми концами усов, в униформе, обшитой золотыми галунами.

— Чего ломишься, не видишь — закрыто! — прокричал он сквозь стекло, свирепо вращая белками и топорща усы.

Рахман выругался про себя и пошел прочь. Его оставил окрик.

— Эй, эй, стой! — кричал усач. — Ты, видать, сын Азиза, а?

Рахман обернулся и кивнул головой.

— Вай, вай, так бы сразу и сказал. Я же его первый друг, Хизгия. Не слышал? Тем хуже для тебя... Ну-ну, проходи, — он пропустил Рахмана вперед и запер дверь на ключ и на массивный крючок.

В ресторане было пустынно. На безлюдных столиках сиротливо белели скатерти, тускло посверкивали металлических крышечками солонки и перечницы. За высокими окнами нескончаемо грохотал проходящий товарный состав.

Рахман направился к буфету и вдруг остановился, как вкопанный, посреди зала.

За столиком, в углу, сидел человек с сильно поредевшими, некогда курчавыми волосами. У ног его стоял небольшой дорожный чемоданчик. Занятый едой, он не видел Рахмана. Когда тот подошел и окликнул его: «Юсупов!» — он выскочил из-за стола и сгреб Рахмана в объятия.

— Вот тебе на, — с мягкой укоризной проговорил Рахман, — ты в Дербенте и даже не показался на глаза.

— Да ты не обижайся, я и в городе-то не был. — Юсупов усадил Рахмана за столик, налил из графинчика водки. — Я проездом из Касумкента, ездил по срочным делам. Меня подбросили на колхозной машине до станции, а через час и поезд подойдет.

Он окинул взглядом зал и поманил официантку. Она подошла, украдкой позевывая в кулак.

— Принесите что-нибудь товарищу.

— Ресторан закрыт.

— Дорогушенька, выручайте. В честь встречи фронтовых друзей.

— Что с вами поделаешь, — девушка вздохнула и приняла заказ.

Рахмана с Юсуповым связывала не только война. Они знали друг друга еще с тех давних лет, когда мальчишками повстречались в лесу под Кулларом. Случилось это вскоре после окончания гражданской войны. Азиз, гонимый голодом, собрался на село убирать хлеб, и Рахман увязался за ним. Как ни отговаривал отец, — в те годы в деревне лютовали кулаки и поездка была далеко не

безопасной,— мальчик упорно стоял на своем. Он плакал, просил, умолял, пока Азиз, скрепя сердце, наконец, не согласился.

Посевы пшеницы находились на лесных полянах. В жаркий июльский полдень Азиз и его друзья, в белых бязевых рубашках и шароварах, повязавши головы платками, косили хлеб. Маленький Рахман играл в траве у опушки леса, подле оросительного канала. Спокойную тишину нарушал лишь далекий посвист кос, щебетание птиц.

Вдруг раздался испуганный крик:

— Змея!.. Змея!.. Сейчас ужалит мальчика!

К Рахману, отчаянно размахивая руками, бежал вихрастый паренек с перекосившимся от ужаса лицом. Это был Шими Юсупов, он вместе со своим отцом тоже приехал на уборку хлеба. Следом за ним, привлеченный его криком, спешил высокий худой старик — Мардахай Овшалум. Задышавшись от быстрого бега, он наскочил на Рахмана, сбил его с ног и отбросил в сторону. Затем остановился, с минуту постоял, чуть раскачиваясь на широко расставленных длинных ногах, и двинулся вперед, медленно и осторожно. Вдруг на солнце сверкнула сталь. Мардахай выхватил кинжал. Прыжок — и старик настиг огромную змею, готовившуюся напасть на Рахмана.

— А я здорово тогда перетрусил. Сколько лет прошло, а до сих пор помню.

— Еще бы. Такое не забывается. А потом мы услышали выстрел. Побежали к дороге...

— И увидели дядю Асаила. На земле, возле раненой лошади.

— Да, кулачье ненавидело его. Как он сейчас?

— Болеет.

— А как с партийными делами? Все еще не восстановили?

— Нет. Написал в ЦК. Ждет ответа.

— Ты бы помог ему, Рахман. Как секретарь парторганизации, ты...

— Пробовал, что-то не очень хорошо получилось... И потом я уже не секретарь... С сегодняшнего вечера.

Рахман замолчал, не хотелось докучать другу невзгодами в столь поздний час. Но Юсупов настаивал, и он рассказал обо всем, что произошло.

— Ничего, джан Рахман, это тоже полезно,— проговорил Юсупов, когда Рахман кончил.— Кто знает, быть может, истинное счастье человека — в борьбе. Не будь

ее, наша жизнь была бы пресной. Как дистиллированная вода. Она, конечно, очень нужна, но пить ее невозможно.

Рахман улыбнулся:

— А потому — выпьем водки.

Друзья чокнулись. За окном прогудел паровоз.

— Тебе пора, это твой поезд.

Юсупов вынул бумажник, подозвал официантку.

— Иди, иди, я рассчитаюсь, — проговорил Рахман.

— К чему это, я же не гость.

— Вот тебе прекрасный повод снова приехать. Приедешь — платить будешь ты. — Они обнялись, расцеловались. — Приезжай поскорее. Жду!

ГЛАВНОЕ — НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ

Хумор не спала — ждала мужа. Она пробовала читать, но прочитанное не укладывалось в голове. Глаза скользили по строчкам, но мозг их не воспринимал. Мысли Хумор бродили вдалеке от книги. Она с тревогой думала о Рахмане. Где он? Почему его так поздно нет? Чем закончилось собрание?

С каждой минутой ее тревога росла все больше и больше.

В комнату, шаркая шлепанцами, вошла Баджи. Простоволосая, в ночной рубашке, заспанная.

— Почему не спишь, дочка? Что стряслось?

— Ничего, мама. Читаю.

— Наверно, у Рахмана неприятности. Не скрывай. Сердце матери не обманешь. Я же вижу, ты сама не своя.

— Нет, мама, просто я зачиталась. Очень интересная книга.

— А, книга-шмига, ложись. Завтра тебе с утра на работу, — старуха успокоилась и отправилась к себе спать.

Чтобы не тревожить ее, Хумор тоже легла. Но сон не приходил. Она лежала в темноте и ждала, не смыкая глаз, беспокойно вслушиваясь в скупые звуки ночи.

Но вот, наконец, стукнула калитка, еле слышно приоткрылась входная дверь, скрипнув, отворилась дверь в спальню, и вошел Рахман. Он ступал бесшумно, на цыпочках. Задел в темноте стул. Остановился, прислушался. Стараясь не шуметь, осторожно разделся и лег на кушетку, отдельно от жены.

— Ай, джан Рахман, ужин на столе, — вполголоса

окликнула сына из соседней комнаты Баджи.— Поешь, сынок.

— Я не голоден, мама. Спи,— тихо ответил Рахман.

— Почему так поздно? — шепотом спросила Хумор.

— Спи. Завтра все расскажу.

Утром Хумор проснулась первой. Рахман еще спал. Он лежал на спине с полуоткрытым ртом и хрипло, с тяжелым присвистом дышал. Видно, даже во сне его одолевали мрачные мысли: брови были нахмурены, лоб стянули морщины.

Острое, щемящее чувство тревоги пронзило Хумор. Она склонилась над кушеткой и резко отпрянула: в нос ударил густой водочный перегар.

Рахман открыл глаза, посмотрел на жену пустым, невидящим взглядом и повернулся к стене.

— Где ты был вчера? На собрании или на свадьбе?

Он не отвечал, будто не слышал. А может быть, действительно не услышал, так как вновь уснул.

Хумор с силой затормошила его.

— Может быть, ты все-таки объяснишь? Где ты пропадал до поздней ночи? И почему от тебя разит, как из винного подвала?

Рахман привстал на постели. Криво усмехнулся.

— Получил по зубам, жена. И за свои грехи. И за грехи Мукаила. В общем, за все получил...

— Ты?

— Да, я. Секретарь, говорят, за все в ответе: за председателя колхоза и за рядовых колхозников... В общем, как говорится, потерял доверие масс. Прокатили.

Он встал и начал одеваться, хмурый, подавленный, злой.

«Неужели я так плохо знала его,— растерянно размышляла Хумор.— Неужели он настолько мелок, что может горевать из-за потери поста? Неужели я ошиблась? Что может быть хуже мелкого честолюбца?»

Рахман внезапно явился перед ней в совершенно новом, доселе не ведомом свете. И потому, что она никогда не ожидала увидеть мужа таким, ею овладело смятение. Впервые за всю их совместную жизнь Хумор не только не поняла Рахмана, но и осудила его. Честолюбие и властолюбие ей, простой душе, были чужды.

Хумор молчала, стараясь не встречаться глазами с Рахманом. А он, напротив, ловил ее взгляд, в надежде прочесть в нем сочувствие.

В комнате повисла неловкая, тягостная тишина. Чтобы избавиться от нее, Хумор принялась хлопотать вокруг стола, приготовляя завтрак.

— Ну, что ты на все это скажешь?

— Нашел из-за чего горевать,— с бодрой беззаботностью проговорила Хумор и осеклась, почувствовав вопиющую фальшь своего тона.

Но Рахман ничего не заметил. Он благодарно взглянул на жену и заметно приободрился.

— Ты действительно так думаешь?

Она молча кивнула головой, думая о своем. Он же торопливо, словно боясь, что его прервут, продолжал:

— Ты не думай, я не гонюсь за властью. Был секретарем, перестал быть. Ничего, проживу. Хотя, конечно, обидно. Меня мучает другое—поведение людей. Мукаил меня продал. С ходу. Или этот прохвост Ханука. На нем негде пробы ставить. А Мукаил боится поссориться с ним. Сколько раз на бюро я требовал наказать проходимца. Не поддержали. А на собрании,— здрасьте вам, пожалуйста, именно Ханука поливал меня грязью, Мукаил набрал в рот воды. Вот что обидно.

Хумор молчала, машинально кивая головой. Наконец, наскоро позавтракав, она встала из-за стола и, сославшись на то, что опаздывает, поспешила на работу.

В поликлинике, несмотря на ранний час,— до начала приема еще оставалось часа полтора,— было многолюдно. К окошку регистратуры тянулась длинная очередь, жужжавшая, как растревоженный улей. Время от времени в полукруглом окошке появлялась голова, повязанная белой косынкой. Раздавался возглас:

— Да тише вы! Прямо невозможно работать!

Жужжание стихало, но через минуту-другую возникало вновь.

В самом хвосте очереди стоял Асаил, согнувшись, держась обеими руками за живот.

— Что с вами, дядя Асаил? Заболели?

— Не заболел, а болею. По-прежнему. Всерьез и надолго,— на землистом лице старика появилась улыбка.

— Может быть, вам пройти к дежурному врачу?

Старик вяло махнул рукой.

Хумор сразу понизила голос, чтобы не слышала очередь:

— Сейчас я вам достану талон. А так вы простоите до самого обеда.

Она прошла в регистратуру, вскоре вернулась, взяла старика под руку и увела прочь, провожаемая сердитыми взглядами собравшихся в очереди людей.

В длинном полутемном коридоре, освещаемом редкими электрическими лампочками, Хумор усадила Асаила на деревянный диван.

— Посидите, дядя Асаил. Как только из кабинета выйдет больной, врач примет вас.

— Спасибо, дочка. Что нового дома? Как Рахман?

И вдруг Хумор, обычно скрытная и сдержанная, почувствовала неодолимую потребность рассказать обо всем, точно внезапно нахлынула горячая волна, нестерпимо обжигающая, неудержимо стремящаяся выплеснуться наружу.

Асаил слушал внимательно. Участливо кивал головой. Вдруг он помрачнел.

— Значит, говоришь, не выбрали?

— Нет.

Старик надсадно закашлялся, встал, снова сел. Он понял, что в какой-то мере повинен в неприятностях, обрушившихся на Рахмана.

Хумор хотела рассказать о главном, о том, как повел себя Рахман, но Асаил перебил ее:

— А как же вели себя люди? Они-то прекрасно знают Рахмана. Что все они говорили?

— А,— досадливо отмахнулась Хумор,— Ханука вылил на Рахмана целый ушат помоев.

— Ай, шайтан! Сам шаромыжничает, а честных людей поносит.

Старик настолько разнервничался, что ему стало совсем плохо. Скорчившись в три погибели, он забился в угол дивана, побледневший, с трясущимися губами и перекосенным от боли лицом,— маленькая, сухонькая птица с подбитыми крыльями.

— Ничего, ничего, дочка. Это со мной бывает,— успокаивал он перепуганную Хумор.— Посижу немного. Вот так. Погрею живот руками и отойдет.

— Я сейчас попрошу врача. Он примет вас без очереди.

Хумор ушла, так и не поделившись главным, а старик сидел и думал. «Откуда берутся плохие люди? Говорят, если дерево с корня выросло кривым, его не выправишь. Скажем, Бебе. Он с детских лет рос в семье кулака. Но Ханука! Ведь старый Эсеф всю свою жизнь трудился,

И на богатых виноградарей батрачил, и на рыбных промыслах спину гнул... А вот поди ты, сын вырос шалопаем... Странное племя людское: зло не сеют, не пашут, оно само растет».

Пришла Хумор.

— Пойдемте, дядя Асаил. Я договорилась с главным врачом. Она вас осмотрит.

Когда они поднимались по лестнице на второй этаж, снизу послышался оклик:

— Асаил! Асаил! Погоди! Насилу разыскала тебя,— раскрасневшаяся от волнения Евдит держала в руках большой серый конверт.— Только что пришло. Почтальон сказал — из Москвы.

Старик бросился вниз, нетерпеливо выхватил у жены конверт, распечатал.

Это был ответ из ЦК. В нем сообщалось, что заявление Асаила получено и будет рассмотрено в ближайшее время.

РАДИ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БЛОХИ НЕ СТОИТ СЖИГАТЬ ШУБУ

Зима в тот год выдалась злой. Пришла она рано. Внезапно, когда никто не ждал, ударили морозы. Закрутили метели. Выпал глубокий снег.

Рахман и Ахмед брели междурядьями. Идти было трудно, ноги увязали в снегу, мороз впивался в щеки множеством незримых жал. На виноградниках, куда ни глянь, было белое безлюдье. А ведь именно на эту пору приходилась обрезка кустов. Впрочем, она началась в срок, но была прервана неожиданным нашествием зимы. Мертвые, пустынные виноградники, а впереди — пропасть дел: обрезка, перекопка, поливка молодых посадок. Ахмед был озабочен. Нелегкая задача выпала на долю нового секретаря. Что делать? Что предпринять? Как выйти из трудного положения?

Он искоса поглядел на Рахмана, на его хмурое, злое лицо и почувствовал легкое раздражение.

С того вечера, когда закончилось отчётно-выборное собрание, Рахмана будто подменили. Ходит мрачный, подавленный. Молчит и думает о чем-то своем, невеселом и неприятном, ведомом лишь ему одному.

Чтобы отогнать недоброе чувство, Ахмед достал из

кармана пачку сигарет, протянул Рахману. Тот, словно не заметив протянутой руки, отвернулся, ускорив шаг.

— Как нам быть, Рахман? Проклятая зима, она нас сгубит.

— Сегодня морозы, завтра дожди. Не одно, так другое. Надо смотреть вперед. А не оглядываться на погоду.

— Что ты имеешь в виду?

— Близорукость. Нашу близорукость. И нашу косность. Присохли к старине и не хотим от нее оторваться. Ыковыряем землю лопатой. Сотни рук копаются на виноградниках, а работы вовремя завершить не можем.

— Что же ты предлагаешь?

— Механизировать труд. Сколько раз я говорил Мукаилу — давай начнем реконструкцию старых виноградников, сделаем рядовые посадки. Какое там! Ему в одно ухо влетит, в другое вылетит. Мы, словно слепые, не видим, что делается рядом. Возьми соседний совхоз. Там все механизировано, и они уже давно закончили осенние работы. Понятно, что им никакая зима не страшна. — Он остановился, закурил и, сделав две глубокие затяжки, продолжал: — В прошлом году мы, как ни тужились, и половины плана не выполнили, а совхоз сверх плана сколько винограда дал? Еще бы, посадки рядовые, обработка механизирована. Они вовремя и быстро перепахивают, культивируют, пропалывают, опрыскивают ядохимикатами. А мы? Работаем так, как вкалывали наши деды и прадеды — вручную. Так можно было жить, когда каждый копошился на своем клочке. У нас же сотни гектаров обобществленных виноградников... О чем тут говорить, — Рахман с досадой махнул рукой. — Сколько ни долби, как горохом об стенку. В общем, за все — одна благодарность — мордой об стол.

— Что ты имеешь в виду, Рахман?

— Да будет тебе, не прикидывайся дурачком.

— Ну, это ты брось, — не сдержавшись, вспылil Ахмед, раздражение друга передалось и ему. — Ходишь не-прикаянным. Волком на всех смотришь. А из-за чего? Ты только подумай, голова садовая. Сегодня меня выбрали, завтра, смотришь, выберут тебя. Или кого-нибудь другого, третьего, поспособнее нас с тобой... Такова жизнь. Обижаться на это смешно. И глупо... Излишнее самолюбие никому не приносило добра.

Ни слова не говоря, Рахман втянул шею в плечи и зашагал быстрее. Ахмед едва поспевал за ним. Так, прова-

ливаясь по колено в снег, задыхаясь от быстрой ходьбы, они шли, не глядя друг на друга, не говоря друг с другом, не понимая друг друга и ожесточаясь один против другого.

Первым не выдержал Ахмед.

— Постой,— он с трудом перевел дух.— Дай отдышаться... Ну, чего ты дуришь?.. На кого обижаешься? Ведь я твой друг, ты же прекрасно знаешь...

— Я не обижаюсь... Мне обидно. Это не одно и то же. Именно потому, что я считаю тебя своим другом, мне и обидно... Выбрали, не выбрали... Как ты не понимаешь, что дело совсем не в этом.

— А в чем же тогда?

— В людях. Пойми, я не могу забыть, как они повели себя на собрании. Как неожиданно раскрылись с самой неприглядной стороны. Мукаил, этот жалкий трус. Не успел Якубов нажать, как он меня продал. А в результате, кто оказался на коне? Прохвост Ханука... Противно вспоминать...

Ахмед помолчал, подумал, потом сказал:

— Что касается Мукаила, надо принимать людей такими, какие они есть, а не такими, какими хотелось бы их видеть... И стараться по мере сил сделать их лучше, чем они есть. В этом наша с тобой задача. Все, что я сказал, относится и к Хануке.

— Его не воспитывать, его гнать из партии надо.

— Выгнать — не мудреное дело, переменить к лучшему мудренее. Ты накопил зло на Хануку, а изливаешь его на всех. Это неверно. Как говорят в народе, ради избавления от одной блохи не стоит сжигать шубу... Вот так, мой дорогой.

КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ

Над Дербентом наконец-то взошло солнце. Яркое и незакатное, оно целыми днями стояло в небе, одаривая землю животворным теплом. В январе вдруг повеяло весной. По улицам побежали ручьи, склоны гор зазеленели, снег на полях почернел, стал ноздреватым, осел, а потом и вовсе сошел, обнажив землю, нагую, лишь кое-где покрытую блеклыми плешинами прошлогодних трав.

Ранним утром, на заре, у правления собрались колхозники. Они ожидали машину, чтобы ехать на виноградники. Машина запаздывала, народ нервничал.

— Где она там застряла?

— Наверно, шофер проспал. Дрыхнет без задних ног, а мы жди-дожидайся.

— Безобразие. Сколько времени теряем зря.

— Может, пешком? Скорее дойдешь.

— Ищи дураков. Пускай Мукаил на своих на двоих ходит, а нам еще вкалывать целый день.

— Правильно. Наука считает, чем экономнее расходовать силы, тем производительнее труд. Сам слышал. По радио говорили.

— Нет, ты только послушай этих сопляков. Наука-шмаука. Машина-шмашина. А помнишь, как мы с тобой работали! Хозяева не то что машину, повозку с паршивым ишаком не давали. Пешочком по восемь-девять верст туда и обратно, на плантацию и с плантации отмахашь, вот тебе и весь разговор.

Это говорил старик Эсеф, вполголоса, чтобы не услышала молодежь, обращаясь к своему другу Азизу.

— Что было, то сплыло и, слава богу, былшем поросло,— нехотя проговорил Азиз. Воспоминания Эсефа порядком надоели ему.

— Бывало, вскочишь чуть свет, чтобы, не дай бог, не опоздать,— теперь Эсеф повысил голос, привлекая новых слушателей,— вскинешь на плечо сумку с черствым чуреком и куском ржавой селедки и топаешь. Только пыль из-под чарыков летит... Да какое там чарыки — разувши топали, сыромятные чарыки берегли. А теперь,— он вновь понизил голос и доверительно, обращаясь к одному лишь Азизу, продолжал: — эти вот, молодые, все им не так. Избаловались. Простые туфли их не устраивают, им подавай модельные. И машину, чтобы, как большие начальники, на работу ехать. Ненасытные, шайтан их возьми. Балованные.

— Да,— хитро прищурился Азиз,— немало еще у нас ненасытных. Сколько бы в колхозе ни зарабатывали, все им мало. Норовят хоть на край света бежать. Все равно, то ли вагоны с вином провожать, то ли вещами спекулировать. Им одно важно — побольше шальных денег зашибить.

Эсеф ничего не ответил. Маленькие глазки его беспокойно забегали под кустистыми бровями. Жуя белую бороду, старик думал: «Клянусь могилой отца, Азиз метит в Хануку. Как говорится в пословице: «Дочь моя, я говорю тебе, но, невестка моя, ты все это слушаешь».

Старик оглядел двор, поискал глазами сына, но нигде не нашел. «Ай, шайтан, — рассердился Эсеф. — Опять лодыря гоняет. А мне краснеть». Он решил сбегать за Ханукой, но раздался сигнал, и появилась долгожданная машина. Она была встречена бурей восторгов. Все нарекания и недовольства были мигом позабыты. Томительное ожидание осталось позади, впереди была дорога, а рядом — машина, с помощью которой можно ее преодолеть.

— По коням, — весело прокричал шофер, и все дружно бросились к машине. — Полегче, полегче, без толкотни. Занимайте места согласно взятым билетам.

Рахман оттер двух бойких молодцов, норовивших занять место в кабине, посадил туда Эсефа и Азиза, а сам взобрался в кузов. Машина покатила за город.

Участок бригады граничил с совхозными виноградниками. Поднявшись на дувал, Рахман взглянул на плантацию соседей. Там, тарахтя и попыхивая дымком, работал трактор. Не спеша, деловито он вел перепашку. Рахман обернулся лицом к участку своей бригады. Здесь было многолюдно. Колхозники постарше секаторами подрезали лозы, молодежь лопатами вгрызалась в неподатливую землю.

Рахман покачал головой и спрыгнул с дувала. Подойдя к старикам, он взял секатор и принялся подрезать лозы.

В полдень на плантации появилась легковая машина. Юркая «победа» подкатила к бригадному домику и остановилась под раскидистым тутовником. Из машины вышли Мукаил, Ахмед и Юсупов.

— Знакомьтесь. Бригадир Рахман Рахманов, — проговорил Мукаил, обращаясь к Юсупову. — Посадку новых виноградников я думаю поручить его бригаде.

Юсупов словно не слышал слов Мукаила, он бросился к Рахману и крепко обнял его. Мукаил недоуменно посмотрел на Ахмеда, он никак не ожидал, что Рахман так близок с высоким начальством. Ахмед, глядя на эту сцену, улыбался.

— Они же старые друзья, — вполголоса пояснил он. — А вообще Юсупов наш земляк, он из Дербента.

Юсупов весь день пробыл в колхозе. Он бродил по участкам, беседовал с колхозниками, пытливо вникал в каждую деталь. Под вечер собрались бригадиры. Разговор зашел о ближайших перспективах колхоза.

— Сколько же новых виноградников вы думаете посадить?— спросил Юсупов председателя.

— Пока что тридцать гектаров. На следующий год еще столько же. А потом еще... Видимо, всего у нас будет сто гектаров новых виноградников.— Мукаил помолчал, стараясь понять, какое впечатление произвел на начальство, но на лице Юсупова ничего не отразилось, и Мукаил осторожно, как бы оправдываясь, продолжал:— Земли у нас мало. Совсем нет свободной земли

— Надо реконструировать старые виноградники,— резко перебил его Рахман.

Мукаил слегка поджал губы:

— Придет срок — будет и реконструкция. Как говорят в народе, всему свое время... Ты лучше скажи, как смотришь на то, чтобы новые посадки провела твоя бригада?

Рахман нахмурился и ничего не ответил.

— Обижается на меня,— Мукаил виновато улыбнулся.— А я никогда бы не подумал, что ты такой,— ласково, с сожалением проговорил он, обращаясь теперь к Рахману.

— Какой?

— Злопамятный.

— Причем тут злопамятность?— вмешался в разговор Ахмед.— Разве он не прав? Разве не пора покончить со стариной? Сколько можно жить за счет мускулов? Ведь на лопате далеко не уедешь.

Мукаил ухмыльнулся.

— Вас послушать, так мы не должны расширять площади виноградников...

— Ничего подобного,— проговорил Рахман.— Площади надо расширять. Но надо реконструировать и старые виноградники, чтобы можно было вводить механизацию. А что сейчас получается? Мы еще не управились с подрезкой, а по срокам уже должны кончать перекопку.

— Язык, он, конечно, без костей,— бросил Мукаил.

— Что вы имеете в виду? — спросил Юсупов.

— Реконструкция бессистемных виноградников — дело нелегкое. Ее смаху не проведешь. Нужны люди, средства, время. А, главное, у нас план. Мы обязаны его выполнить,— Мукаил начал горячиться.— Если разрушить старые плантации, откуда мы возьмем виноград? Что сдадим государству? Оно ведь красивых речей не принимает, ему подавай виноград.

— Что же вы предлагаете?— Юсупов вдруг стало жалко этого задержанного заботами и тревожностями человека. Все время находиться под двойным прессом — тоже не сладко.

— Я объясню, — Рахман придвинулся вплотную к Юсупову. — На старых плантациях на гектар приходится семь-восемь тысяч кустов. На новых, рядовых, их будет не больше четырех тысяч. Вот Мукаил и считает, что четыре тысячи не дадут столько, сколько дают восемь тысяч.

Юсупов улыбнулся.

— А как же агротехника? Разве ее не стоит принять в расчет.

Мукаил рассердился:

— Ты, Рахман, меня не комментируй. У меня свой язык есть. И свой ум. Я в агротехнике тоже кое-что смыслю.

— Так в чем же тогда дело?— Юсупов изумленно поднял брови. — Раз вы изучали агротехнику, то знаете: когда кусты расположены далеко друг от друга, они получают больше питания и становятся сильнее. Количество гроздьев на них возрастает, а сами гроздья становятся крупнее. Но это еще не все. Рахман прав, говоря о возможности большой механизации новых, рядовых плантаций. Чем выше механизация, тем ниже себестоимость центнера винограда и тем выше урожайность. Все это азбучные истины, товарищ председатель.

Мукаил отвернулся, закурил и, почему-то обращаясь к одному Рахману, сказал:

— Все это теории, дорогие товарищи. Очень хорошие теории. А райком требует от меня практики. Выполнения плана требует. Теория без винограда мертва, — он криво усмехнулся, сделал глубокую затяжку и закашлялся.

— Теория гоноришь? А как же это? — Ахмед протянул руку в сторону совхозных виноградников. — Вспомни, сколько урожая собрали они и сколько мы.

— А, брось ты, — сквозь кашель проговорил Мукаил. — Прошлогодние неудачи объясняются не этим.

Рахман прищурил глаза. «Что он имеет в виду? — с раздражением подумал он. — В кого метит?»

— В прошлогодных неудачах виноваты мы сами, — закончил мысль Мукаил, вытащил клетчатый платок и с шумом высморкался.

В высоком небе появился причудливый белый узор.

Он тянулся к самому горизонту. Юсупов, закинув голову, искал в небе быстро движущуюся серебристую точку, нашел, удовлетворенно вздохнул и, опустив голову, взглянул на часы.

— Мне пора в город... Обо всех этих делах поговорите на правлении, посоветуйтесь. Лично я рекомендовал бы не медлить с реконструкцией.

— Ладно,— облегченно вздохнул Мукаил.— Посоветуемся.

Он тоже смотрел на небо, ища самолет, но не находил. В небе стоял лишь длинный, замысловато извилистый белый след.

СОБУТЫЛЬНИКИ

Ханука переминался с ноги на ногу у обочины дороги и зябко поеживался. Вечерело, густели сумерки, землю все плотнее окутывал туман. Противная, пронизывающая сырость пробиралась за поднятый воротник плаща, а машину все никак не удавалось поймать. То проскочит мимо, обдав бензинным перегаром, то окажется не по пути.

Наконец, когда Ханука уже совсем продрог и, отчаявшись, с руганью побрел пешком, его нагнал грузовик. Ханука, не помня себя, кинулся с поднятой рукой наперерез большой грузовой машине. Она, взвизгнув, остановилась.

— Ты что, ополоумел? — разъяренный шофер высунулся из кабины, потрясая кулаком.— Или жить надоело?

— Вай, вай, да это Ханука! — рядом с шофером широко улыбался Бебе.— Привет ударнику полей... Полезай, полезай,— милостиво разрешил он.— Кабина просторная, всем места хватит.

— Прогрел до костей,— потирая руки, проговорил Ханука, поудобнее устраиваясь в кабине.— Туман, как на папанинской льдине.

— Туман — это хорошо. Хотя, с другой стороны, сами видите, ни хрена дороги не видно,— пристально вглядываясь в набегающую белесую мглу, проговорил шофер.— Говорят, в такой туман к берегам Каспия много рыбы подходит.

— Он согласен жить и без рыбы,— сказал Бебе, кивнув на Хануку.— Лишь бы побольше баранины и курятины.

— Да, курятина — это неплохо, — вздохнул Ханука.

— А что, разве у тебя ее нет?

— Нет — так будет, — он многозначительно поднял палец. — Я только что с птицефермы. Говорил с заведующим Аббасовым. Хочу устроиться к нему учетчиком.

Бебе расхохотался.

— Самое лучшее место. Для тебя. Но не для кур. Это все равно, что нанять волка стеречь овец.

— Как тебе не совестно, — обиделся Ханука.

— Ладно, ладно, молчу. Все знаем, все понимаем. Судак ищет где глубже, Ханука где лучше... Ну, как, приняли тебя на ферму?

— Нет еще. Мукаил велел предварительно переговорить с Аббасовым, а потом обсудит этот вопрос на правлении.

— А если правление будет против?

— Тогда плохо дело.

Бебе лукаво, прищурившись, взглянул на Хануку.

— Поставишь пол-литра, все устрою.

— Я и литра не пожалею, — обрадовался Ханука. — А как ты все это обтяпаешь?

— Не твое дело.

— Ханука — человек слова. Сказано — сделано. Поехали в ресторан.

Бебе довольно усмехнулся.

— Давай к вокзалу, — приказал он шоферу.

В вокзальном ресторане было шумно и многолюдно. Ханука и Бебе прошли в глубь зала, заняли отдельную кабину и подозвали официантку, крашеную блондинку с пышными бедрами и нагловатым лицом.

— Пол-литра водки, два графина пива, пару шашлыков. Холодная закуска по вашему усмотрению, деточка, — распорядился Ханука.

— Только и всего? — улыбнулась ярко накрашенным ртом официантка.

— Да, золотце. Пока. А там, глядишь, что-нибудь еще попросим...

Ханука игриво подмигнул и хлопнул девушку пониже спины. Официантка фыркнула и, виляя бедрами, удалилась.

— А ты, оказывается, ходок, — с неодобрением проговорил Бебе.

— Еще бы, недаром ел с тобой с одного стола и пил из одного графина.

— Ты меня с собой не равняй. Я скромный отец семейства.

Ханука расхохотался:

— Ой, не могу. Рассмешил. А кто на прошлой неделе к той самой вдовушке,—кажется, Аснат ее звать,—ходил? Кто на рыбзаводе с Лидочкой путался?

— Тихо ты. Орешь на весь ресторан... Ты что, шпионишь за мной?

Подошла официантка с большим подносом в руках. Она поставила на стол водку, пиво, закуску и, вильнув бедрами, удалилась.

Бебе задумчиво посмотрел ей вслед.

Заиграл оркестр. Под его аккомпанемент певец, полнеющий молодой человек с ласковыми бараньими глазами, жидким тенорком запел:

Ах, эта девушка
Меня с ума свела...

— Ну, поехали...

— За успех твоего дела,—Бебе смаху опрокинул стопку водки, поморщился, понюхал хлебную корку.— Аббасов,— мой лучший друг. Мое слово для него закон. Считаю, что ты уже работаешь на ферме.

— Дай бог тебе здоровья.

Пока Ханука гулял со своим собутыльником, старый Эсеф неприкаянно бродил по дому. Хотя час был уже поздний,—большие стенные часы, прохрипев, натужно пробили полночь,—старик не ложился спать. Он нетерпеливо ждал сына, еще днем, вернувшись с виноградников, Эсеф решил серьезно поговорить с ним, по-отцовски, спросить за невыход на работу.

Теребя седую бороду, он слонялся из комнаты в комнату и не находил себе места. Наконец не выдержал и разбудил невестку.

— Ай, Хагило, дочь моя, где пропадает твой непутевый муж?

Хагило спала, не раздеваясь, в платье. Она долго ожидала мужа, устала, на минуту прилегла и уснула. Разбуженная свекром Хагило вскочила с постели и, испуганно тараща сонные глаза, затараторила:

— Откуда мне знать, я сама волнуюсь, мучаюсь. Ужин давно остыл. Придется снова разогревать. Лучше бы мне не родиться на свет, чем жить такой несчастной...

Старик пожалел, что разбудил ее. Только прибавил

себе хлопот. Он вышел на веранду. На дворе было темно и сыро. С Каспия дул резкий холодный ветер. Он трепал редкие волосы на непокрытой голове старика. Эсеф зажал в кулак бороду, подергал, отпустил. Облокотился на перила веранды, прислушался. Все тихо, лишь монотонно стучит о каменный пол падающая с крыши капель.

Старик постоял, постоял и вернулся в дом. Хагило на этот раз прикорнула за столом. Эсеф присел и незаметно для себя задремал. Проснулся он от громкого пения.

— Ах, эта девушка
Меня с ума свела,—

во весь голос горланил Ханука, неожиданно появившийся в комнате.

— Тише, детей разбудишь,— пыталась образумить мужа Хагило.

— Молчать! Ты кому указываешь!— Ханука замахнулся на жену, она увернулась от удара, и он, потеряв равновесие, свалился на пол.

— Где был, на свадьбе? Почему не взял с собой жену?

Эсеф попытался поднять сына и не смог! Но Ханука с хитростью, присущей только пьяным, ухватился обеими руками за ножки стола и, старик, как ни старался, не мог сдвинуть сына с места. Хагило пришла на помощь свекру. Но их объединенные усилия привели лишь к тому, что громоздкий и тяжелый стол чуть сдвинулся с места. Это неожиданно развеселило Хануку. Он безудержно хохотал, взвизгивал и закатывал от удовольствия глаза.

— Почему люди пьют?— вдруг, посерьезнев, спросил он у стола, воздев к нему неподвижные, остекленевшие глаза.— Потому что плохо живут. Или, совсем наоборот, потому что живут отлично. Я — живу хорошо. А хочу жить отлично. И буду жить. Как каждый советский гражданин. Это мое полное право. Вот потому я и выпил...— он говорил все тише и тише, пока, наконец, не смолк, уснув. Однако все попытки сдвинуть его с места ни к чему не привели. Ханука и во сне крепко сжимал ножки стола.

Неожиданно Хагило придумала новый способ справиться с ним. Выйдя на середину комнаты, она взмахнула платком, повела плечами, запела и плавно пустилась в пляс. Ханука приоткрыл глаза, довольно и счастливо заулыбался, захлопал в ладоши и сделал попытку под-

няться с пола. Этого только и ждала Хагило. Она подскочила в мужу, тут же оказался и Эсеф. Вместе они, свекор и невестка, подхватили Хануку под руки и уволокли в спальню.

Утром Эсеф насилу растолкал сына.

— Вставай, пора на работу.

— Не пойду.

— Что значит — не пойду? — опешил старик. — Мало тебе вчерашнего?

— Я перехожу на птицеферму, — гордо заявил Ханука.

Старик совсем оторопел.

— Как так?

— А вот так. В нашей советской стране люди не стоят на месте. Они растут.

Эсеф смущенно пожевал бороду.

— Тут что-то нечисто.

— Все в порядке, отец. Помни, все к лучшему, что от бога и от начальства. — Ханука ухмыльнулся и спустил ноги с кровати. — Жена! — бодро прокричал он. — Принеси попить чего-нибудь кисленького.

Эсеф взглянул на стенные часы. Времени до отхода машины оставалось в обрез. Он взял у невестки краюху хлеба, кусок рыбы, полголовки сыра, положил все это в сумку, на ходу прихватил на веранде секатор и зашагал к правлению колхоза.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Гость, даже самый желанный, стесняет, если в семье нелады.

С того злосчастливого вечера, когда Рахман вернулся домой выпивши, его отношения с женой испортились. Хумор ничего не говорила мужу, не порицала и тем более не осуждала его. Она лишь молчала, молчала упорно и непоколебимо. Всякий раз, когда Рахман пытался возвратиться вновь к разговору, начатому тогда, она находила удобный, а чаще всего неудобный предлог, чтобы выйти из комнаты или вообще уйти из дому.

Ее молчание, в котором явно проглядывало осуждение, бесило Рахмана куда больше, чем оскорбительные слова. Он стал резким, раздражительным, то и дело срывался на грубость без всякой причины к тому.

Вот и сегодня, вернувшись под вечер домой с виноградников, он опять не выдержал. Все началось с пустяков. Как обычно бывает в подобных случаях.

— Ты напрасно лег,— заметила Хумор,— сейчас будем ужинать. Никто, кроме детей, еще не ел. Ждали тебя.

— Ну и зря. Я не голоден.

— Ты что, питаешься воздухом?— улыбнулась Хумор.

— Отстань. Дай хоть минуту пожить спокойно.

— Что?.. Что ты сказал?— вспыхнула Хумор.

— Что сказал, то и сказал,— Рахман вскочил с дивана и двинулся на Хумор, красный, разъяренный.

Хумор отпрянула назад и попятилась к двери.

— Я сказал то, что сказал,— еще более распаляясь, кричал Рахман.— И ты мне не указывай. Я сам знаю, что говорить. Подумаешь, учительница жизни нашлась.

Он кинулся к двери, наперерез жене. Хумор попыталась отстранить его, но он с такой силой сжал ее руку, что она вскрикнула.

Чем бы все это кончилось, трудно сказать, если бы с веранды не послышался радостный голос Азиза.

— Рахман! Хумор! Посмотрите, кто пришел! Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Это пришел Юсупов. Рахман и Хумор, поспешно стерев со своих лиц следы ссоры, вышли навстречу гостю. И он и она, как и подобает счастливой семейной паре, радостно улыбались.

Как ни уважала Хумор Юсупова, его приход был неприятен ей. Он еще больше осложнял и без того сложную ситуацию. Притворяться веселой, когда тебя гложет печаль, изображать радость, когда впору плакать, было очень трудно.

Выручила Баджи. Она кинулась хлопотать по хозяйству, и Хумор, извинившись перед гостем, ушла на кухню помогать свекрови.

Когда она вошла в комнату и стала накрывать на стол, разговор мужчин был в самом разгаре. Хумор мельком взглянула на Рахмана и с неприязнью подумала:

«Вот сидит, разглагольствует, как ни в чем не бывало. Ему наплевать, что я обижена, оскорблена. С него, как с гуся вода, а я, дура, не нахожу себе места, мучаюсь, терзаюсь. Эгоист, бессовестный эгоист».

— Нет, ты его плохо знаешь, Шими,— горячо убеждал Юсупова Рахман.— Мукаил совсем не такой, каким

кажется. Для него главное — угодить начальству. Даже, если это во вред делу.

— Почему? — мягко возражал другу Юсупов. — Я ведь тоже вроде начальство, — он виновато улыбнулся. — Однако Мукаил не согласен со мной. Спорит, стоит на своем. Семь арбузов, говорит, в одной руке не удержишь. Это он к тому, что невозможно одновременно проводить реконструкцию старых виноградников и выполнять план текущего года. Такова его точка зрения. Правильна она или нет — другой вопрос. Но он честно и открыто отстаивает ее.

— Если слушать Мукаила, нам реконструкции не видеть, как своих ушей, — все более раздражался Рахман.

— А я его понимаю, — Азиз придвинулся к сыну. — У нас и без того дел невпроворот. Новые виноградники сажать надо. Урожай повышать надо. Прошлогодние долги платить надо...

— Легко ничего не дается, отец. Ты же сам говорил: кто хочет наловить свежей рыбы, не должен бояться холодной воды.

— Сравнил — мацу с салом! — Азиз тоже начал горячиться.

— Хватит вам спорить, — в комнату вошла Баджи. Она поставила на стол кастрюлю с голубцами и подняла крышку. Из кастрюли повалил густой аппетитный пар. — За столом едят, а не спорят. Дела делаются на работе.

— Также верно, — весело согласился Юсупов, остановив Рахмана, готового прикрикнуть на отца. — Тем более, что я еще нигде не ел таких вкусных голубцов, как ваши, тетюшка Баджи.

— Вот видишь, — расплылась в улыбке Баджи. — А он все недоволен, — кивнула она на Рахмана. — Все ему не так. За последнее время ни я, ни Хумор никак не можем ему угодить.

Рахман покраснел и закусил нижнюю губу.

— Как дети, как жена, Шими? — поспешно спросила Хумор, раскладывая голубцы по тарелкам.

— Дети растут, мы с женой стареем. В общем, жизнь идет нормальным чередом... Что же ты, брат, — ласково пожурил Юсупов Рахмана, — заставляешь на себя жаловаться.

Рахман еще гуще покраснел и опустил голову. Но Юсупов не заметил смущения друга. Его внимание привлек голос, донесшийся со двора:

— Баджи, ай Баджи! Рахман дома?

Юсупов просиял:

— Асаил! Неужели? Я узнал его голос! Ведь сколько лет не виделись. С самой войны.

Последняя их встреча произошла осенью 1941 года. Сереньким тоскливым днем агроном Юсупов объезжал колхозы Дербентского района. Километров за пятнадцать от города он заметил в серой дали всадника в брезентовом плаще с капюшоном, низко надвинутым на глаза. Лошаденка его, низкорослая и худая, не спеша тащилась по размытой дороге навстречу линейке Юсупова. Когда они поравнялись, всадник придержал лошадь и окликнул Юсупова:

— погоди, да это никак Шими! Что тебя занесло на поля в такую чертову погоду?— он поднял капюшон, и Юсупов узнал Асаила.

— Дядя Асаил, а ты какими судьбами здесь?

Асаил усмехнулся:

— Я в колхозе работаю, председателем.

Юсупов смешался. Он знал, что Асаила несколько лет назад исключили из партии. Неужели ему доверили колхоз? Впрочем, почему бы и нет? По своим деловым качествам он вполне подходил для этой работы. Правда, кроме деловых качеств, в расчет принимаются и другие.

Старик, видимо, догадался о мыслях Юсупова. Глаза его сверкнули лукавым огоньком, и он, хитро прищурившись, проговорил:

— Как видишь, дорогой, меня еще рано сбрасывать на свалку истории. Как видишь, и я еще могу принести пользу. Если, разумеется, мне доверять.

Побывав в колхозе, Юсупов воочию убедился в прозорливости районных руководителей, доверивших Асаилу руководство артелью. Несмотря на трудности военного времени, несмотря на то, что в колхозе остались одни лишь женщины, детишки и старики, дела у Асаила шли хорошо.

Несколько месяцев спустя Юсупова призвали в армию. Он приехал на фронт и явился в отдел кадров политуправления за назначением. Лицо подполковника, который принял его, показалось Юсупову знакомым. Но где и когда они встречались, припомнить не мог.

— Вы, оказывается, дербентский,— проговорил подполковник, просматривая бумаги Юсупова.— Бинаева знаете?

— Еще бы, товарищ подполковник. Я его недавно видел,— Юсупов облегченно вздохнул, он вспомнил: этот подполковник — бывший секретарь райкома партии Фомичев.— Асаил Бинаев работает председателем колхоза. Очень хорошо работает.

— А в партии восстановлен?

— Нет.

Фомичев покачал головой. Оторвался от бумаг решительно рубанул ребром ладони воздух:

— Восстановят. Я уверен. Такие люди, как Бинаев, каждой своей клеточкой привязаны к партии.

Выслушав рассказ Юсупова о его встрече с Фомичевым, Асаил теперь изумленно вскинул седые брови и, не сдержавшись, широко и довольнo улыбнулся.

— Неужели так и сказал?

— Точно так,— подтвердил Юсупов.

— Сразу видно, хороший человек,— проговорил Азиз.

Продолжая улыбаться, Асаил вынул из кармана большой серый конверт и протянул Юсупову:

— Вот, пришло из Махачкалы. Вызывают в обком.

— Видишь, дядя Асаил,— оживился Рахман.— Не зря ты писал в ЦК.

— Я за вас спокоен, дядя Асаил,— сказал Юсупов.— Наверняка восстановят.

— Тогда можно и умереть со спокойной душой.

— Вай-вай, что ты говоришь, джан Асаил,— вмешалась в разговор Баджи.— Лучше пусть сгорят огнем все твои враги.

— Вам еще жить да жить, дядя Асаил. На страх всем раввинам и муллам. Вы еще немало проведете антирелигиозных бесед,— радостно проговорил Рахман.

— Дай-то бог, дай-то бог,— присовокупил Азиз.

Асаил рассмеялся.

— Дай бог бороться против бога. Так что ли, друг мой Азиз?

— Так, так. Это к слову говорится, по привычке.

Из соседней комнаты донеслись гулкие и редкие удары колокола. Радио передавало бой часов Кремлевской башни. Асаил вскочил и стал поспешно прощаться.

— Пора, пора, засиделись до полночи. Вот уже и дети заснули...

И правда, крошка Марал спала на руках у матери, Шамай дремал, прикорнув на диване.

— А ты чего сидишь,— прикрикнул на жену Рахман.— Не можешь детей уложить.

— Сейчас,— с трудом сдерживая себя, проговорила Хумор.

«Как ему не совестно,— подумала она.— Повышать голос при посторонних». Но вслух ничего не сказала. Низко опустив голову, она встала из-за стола и отнесла ребенка в спальню.

— А ты куда, ночуй у нас,— предложил Рахман.

— Нельзя, обидятся братья,— сказал Юсупов.

— Рахман тоже твой брат,— проговорила Баджи.

— Конечно,— поддержал жену Азиз.

— Так-то оно так, но все же надо идти.

Юсупов и Асаил ушли. Рахман, проводив гостей до калитки, не спеша направился к дому. В туманной мгле топырились голые сучья деревьев. С них падали крупные капли, тихо, но неумолчно стуча по земле. В сыром воздухе пахло прелью. Взойдя на веранду, Рахман постоял, покурив сигарету и швырнул окурочек в сад. Описав дугу, одинокий красный огонек исчез, подобно падающей звезде, поглощенный тьмою.

В спальне было темно и тихо. Это неприятно удивило Рахмана: неужели нельзя было подождать каких-нибудь пять-десять минут, пока он придет. Но еще больше удивило его то, что Хумор лежала не на кровати, а на полу. Он тихо, на цыпочках подошел к ней, нагнулся, спросил:

— Что случилось? Почему ты на полу?

Она ничего не ответила.

— Что с тобой, Хумор? Может быть, ты все-таки объяснишь?

— Со мною ничего. А что с тобой? Грубишь, унижаешь меня на людях, кричишь... Так с прислугой — и то не разговаривают.

— При чем тут прислуга?— Рахман почувствовал, что начинает раздражаться, но сдержал себя.— Разве ты не знаешь, что я пережил за последнее время. Совсем нервы расшатались.

Хумор приподнялась на локтях. В темноте этого не было видно, но Рахман знал, что она усмехается, едко и ядовито.

— Скажите, пожалуйста, нервы. У других неприятности посерьезнее, но они не бросаются на людей. Не вымещают на них свою злобу.

— А я, стало быть, вымещаю?

Рахман рассмеялся коротким и злобным смешком. Но, снова сдержавшись, опустился на колени и погладил круглое, шелковистое плечо жены.

Хумор резко сбросила руку мужа и укрылась одеялом.

— Ну, будет, будет тебе... Иди на кровать...

Хумор лежала, не шевелясь...

— Значит, не пойдешь?— в голосе Рахмана зазвенела угроза.

— Нет.

Кровь прилила к лицу Рахмана, он чуть было не обрушил на Хумор злые, оскорбительные слова, но совладал с собой, встал, разделся и лег в постель.

Наутро, стараясь не глядеть на жену, он молча вышел из спальни.

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД

Мамедов пришел в райком спозаранку. Уборщица Фатия-ханум, отворяя дверь, неодобрительно подумала: «Чего ему неймется? Поднялся с петухами. Сон от него бежит, что ли?»

Фатия-ханум, как ни странно, попала в точку. Мамедову, действительно, не спалось. Накануне он поздно вечером возвратился из Махачкалы, где провел далеко не самый приятный в жизни день. Он-то и лишил его покоя в ночи.

В обкоме Мамедову пришлось выслушать немало горьких и, увы, справедливых слов. Его резко критиковали за то, что Дербент — родина виноградарства — является одним из отсталых районов в республике. Ему напомнили о низком урожае минувшего года, о недопустимо низких темпах работ по посадке новых плантаций и перекопке старых.

Заведующий сельскохозяйственным отделом прямо и жестко спросил его: «До каких пор старые виноградники будут оставаться бессистемными? Сколько можно полагаться на лопату? Почему до сих пор на колхозных плантациях не работают тракторы? Когда, наконец, дербентские колхозы по-настоящему возьмутся за механизацию?»

Каждый из этих вопросов звучал обвинением, тяжким и неопровержимым. Мамедов слушал, краснел и молчал. Что мог он возразить? Мамедов прекрасно понимал, что надо не возражать, а думать, серьезно думать о том, как быстро и оперативно исправить допущенные ошибки.

Но слаб человек. Хотя Мамедов разумом понимал всю справедливость упреков и обвинений, сердце его жгла обида на агронома Министерства сельского хозяйства Юсупова. «Хорош, а еще земляк. Ведь мы же на месте обо всем договорились, сообща наметили план мероприятий. К чему же было бить тревогу в обкоме, поднимать шум на всю республику? Нехорошо. Теперь, чего доброго, в газетах распишут...»

И хотя на месте Юсупова он поступил бы точно так же, Мамедов негодовал. Оттого и не спал всю ночь. И лишь сейчас, в привычной, деловой обстановке своего рабочего кабинета, стал постепенно отходить. Злись — не злись, делу эмоциями не поможешь. Делу можно помочь лишь одним — действиями. И Мамедов начал действовать.

Он нажал кнопку звонка. Высокая дубовая дверь открылась, и в кабинет бесшумно вошла изящная чернобровая девушка в темно-синем строгом костюме.

— Зухра-ханум,— обратился к ней Мамедов,— срочно вызовите ко мне Мукаилова.

По паркету дробно застучали каблучки. Зухра-ханум вышла, плотно притворив за собой дверь.

«Вот кому хорошо,— с завистью подумал Мамедов.— Ни тебе обкома, ни Юсупова, ни бессонных ночей. А если они и случаются, то приносят только успокоение и радость... А, хватит,— разозлился он на себя.— Сколько можно. Все, точка».

Мамедов встал из-за стола, подошел к окну, глянул в него. На мостовой старушка кормила голубей, щедро разбрасывая из бумажного кулька хлебные крошки. Голуби, толстые, разъевшиеся, с ленцой клевали корм.

Открылась дверь, и в кабинет вновь вошла Зухра-ханум.

— Товарищ Мукаилов сейчас прибудет,— она положила на стол стопку писем и телеграмм и вышла, стройная, прямая, спокойная в своей невозмутимой уверенности,— человек, которому все ясно и которого ничто не волнует и не смущает.

Мамедов уселся за стол и погрузился в чтение почты.

В тот момент, когда раздался звонок из райкома, Мукаил собирался ехать на виноградники. Положив трубку, он помрачнел. Мукаил недолюбливал вызовы, справедливо полагая, что начальство приглашает председателя колхоза отнюдь не за тем, чтобы пожать руку и поблагодарить за отличную работу.

«Эх,— досадливо поморщившись, подумал Мукаил.— И дернул же меня черт задержаться в правлении. Уехал бы на виноградники, тогда ищи-свищи. Глядишь, и пронесло бы. Что не произошло сегодня, не обязательно произойдет завтра».

Но делать было нечего. Все с той же расстроенной миной Мукаил на ходу надел пальто, надвинул на лоб каракулевую ушанку и вышел, хлопнув дверью.

Ни слова не говоря, он сел в машину рядом с шофером и закурил.

— В райком, что ли, поехали?— спросил шофер. Он по лицу председателя безошибочно определил маршрут.

— Правильно, куда же еще,— вздохнул Мукаил.

Когда он бочком протиснулся в широкую дверь кабинета, Мамедов подписывал какую-то бумажку. Поставив черточку за своей размашистой подписью, он снял очки, встал и вышел из-за стола. Подошел к Мукаилу, пожал ему руку, жестом пригласил сесть в глубокое кожаное кресло перед письменным столом. Сам опустился в другое, такое же, стоявшее напротив первого.

Мукаил насторожился. То, что секретарь принимал не так, как обычно, не сидя за письменным столом, встревожило его. Значит, разговор должен быть вроде как задушевным. Следовательно, он сулит мало приятного: новые требования, исполнить которые нелегко.

Мамедов вынул портсигар, раскрыл, протянул Мукаилу. Это еще больше огорчило председателя. Теперь он уже точно знал, что не ошибся в своих предположениях.

Мукаил густо покраснел так, что даже лысина и мочки ушей стали розовыми, улыбнулся широкой открытой улыбкой и, отводя в сторону беспокойно бегающие глаза, решительно спросил:

— Зачем звал, товарищ Мамедов?

— Обком нами недоволен.

Мукаил сочувственно покачал головой.

— Справедливо недоволен. Всеми нами. В том числе и твоим колхозом.

— Что же мы натворили?

Мамедов встал, прошелся по кабинету, выключил репродуктор, передававший тихую музыку, и снова сел в кресло напротив Мукаила.

— А что, ты сам не знаешь? Сколько винограда сгнило в прошлом году?

— Кто прошлое помянет, тому, как говорится, глаз вон. Что проку в прошлом, товарищ Мамедов? Нас должно интересовать будущее. Ты же сам призывал смотреть вперед! Золотые слова... А что касается потерь урожая, так люди понесли наказание.

Лицо Мамедова скривила гримаса.

— Ай, товарищ Мукайлов, ты просто рассмешил меня. Как Аркадий Райкин. Кто понес наказание? За что понес? Уж не Рахманов ли? За ослабление воспитательной работы? За то, что поручил проводить антирелигиозные беседы старику Бинаеву? Ты это имеешь в виду? Недаром вы его освободили от обязанностей секретаря.

— Почему это мы,— встрепенулся Мукаил, неожиданно он почувствовал под ногами твердую почву.— Райком освободил. Якубов так нажимал, что мы...

Мамедов поднял руку.

— погоди, я вызвал тебя не за тем. Я вызвал тебя совсем по другому вопросу. Речь идет не о Рахманове. Речь идет о новых посадках. Сколько гектаров вы уже посадили?

«Вот оно что!»— Мукаил зябко поежился. Разговор принимал неприятный оборот.

— Десять,— вполголоса проговорил он.— При плане в тридцать гектаров на этот год.

— И вас удовлетворяет подобное положение?

Мукаил неопределенно пожал плечами.

— Правильно, и нас не удовлетворяет.

Мукаил еще сильнее, чем прежде, покраснел, вынул из кармана большой клетчатый платок и вытер вспотевшую лысину.

В кабинете пронзительно запахло шипром.

— Видишь ли, товарищ Мамедов, мы, как бы это сказать...

Но Мамедов не слушал. Он привстал, перегнулся через стол и достал из ящика какие-то бумаги. Потом надел очки и, пробежав глазами по строчкам, заявил:

— Мы считаем, что ваш колхоз может и должен посадить двести гектаров новых виноградников. Надо смелее вводить механизацию.

Мукаил еще глубже ушел в кресло, откашлялся и жалобно, со слезой в голосе, заговорил:

— Товарищ секретарь райкома, вы же сами знаете: у нас мало свободных земель. Коров негде пасти. Нам хотя бы двести гектаров надо иметь под ячмень, под травы, под сахарную свеклу... Все время не хватает кормов. Коровы сидят на голодном пайке. А вы без конца требуете мяса, молока.

Теперь пришла очередь покраснеть Мамедову.

— Товарищ Мукайлов,— отчеканивая каждое слово, строго проговорил он.— Не мы требуем, народ требует. Ему нужно есть. И мы обязаны обеспечить его продуктами. Понятно?

Мамедов встал и подошел к окну. Серый тощий кот, припадая к земле и нервно постукивая кончиком хвоста, подкрадывался к голубям. Мамедов распахнул окно и замахал руками. Голуби нехотя взлетели и тут же уселись на карниз дома, что стоял напротив райкома. Кот проводил их разочарованным взглядом, зевнул и побрел прочь.

— А вот насчет сева ячменя и трав давай поговорим,— Мамедов вновь вернулся на свое место.— Зачем сеять ячмень и травы на корм? Что, у вас кукурузных семян нет? Раз мало земли, сейте кукурузу. Получите не меньше пятидесяти центнеров с гектара.

Мукаил глубоко вздохнул. Задумался. «Сколько свалилось неожиданных забот, хлопот. Новые посадки винограда, реконструкция старых виноградников, механизация, кукуруза, силосование. Словом, не было печали».

— Трудно, товарищ Мамедов.

— Разумеется,— охотно согласился Мамедов.— А что легко?.. Итак, товарищ Мукайлов,— он встал,— давай браться за дело. Немедленно и с огоньком. Чтобы летом друг на друга не обижаться. Договорились?

Улыбаясь, Мамедов протянул Мукаилу свою крепкую, поросшую черными волосами руку:

— Значит, будем смотреть вперед, товарищ Мукайлов! А?

НА ТО И ДРУЗЬЯ

На обеденном столе лежал лист ватмана, прихваченный по углам круглыми блестящими кнопками. Над ват-

маном склонилась курчавая голова. Под ярким светом большой электрической лампы, защищенной розовым абажуром, завитки черных волос отливали булатной синевой. Углубившись в чертеж, Ахмед не заметил отца, тихонько вошедшего в комнату. Адигезал на цыпочках, чтобы не помешать сыну, подошел к столу и заглянул через плечо Ахмеда в чертеж.

На белом ватмане отпечаталась тень. Ахмед поднял голову:

— Почему не спишь, отец? Ведь уже поздно.

— Работай, работай, сынок. Не буду мешать,— старик смутился, но не ушел, а, потоптавшись на месте, присел на краешек стула.

— Что это?

— Проект реконструкции наших виноградников.

Адигезал надел очки, привстал и, обняв правой рукой плечо сына, погрузился в изучение чертежа. На белом листе агроном аккуратно расчертил ровные ряды будущих виноградников.

— Толково,— похвалил Адигезал.

— Вот здесь,— Ахмед ткнул пальцем в правый угол чертежа,— мы и начнем. Первая очередь работ пойдет на этом участке.

— Чей это участок, сынок? Твой?

Ахмед постучал пальцем по столу и тихо ответил.

— Нет, Рахмана.

— Почему же начинать не с тебя? Как-никак ты секретарь. Кому как не тебе показать людям пример.

Старик, сам того не подозревая, уязвил сына. Ахмеду очень хотелось, чтобы все началось с его бригады.

— Рахман первым поднял вопрос о реконструкции старых виноградников,— Ахмед убеждал не столько отца, сколько самого себя.— Естественно, что честь быть зачинателем принадлежит ему.

— Это ты прав,— согласился Адигезал.— Рахман всему делу голова. Недаром Мукаил против него рвет и мечет. А вообще с нашим председателем творится что-то неладное. Встретил его сегодня — хмурый, злой, в глаза не смотрит. Голова, говорит, кругом идет.

— Его недавно вызывал Мамедов.

— Вправлял мозги? Накачивал? — усмехнулся Адигезал.

— Нет зачем. Мамедов этого не любит. Ставил задачи. Насущные и жизненно необходимые.

— Адигезал, побойся бога!— в комнату ворвалась Сурия-ханум.— Двенадцатый час, оставь сына в покое.

— Ничего, мама. Я все равно Веру дожидаясь, скоро уже она с дежурства придет,— Ахмед раскрыл лежащую на столе книгу и принялся за чтение.

— Ах, ханум, ты опять решила завести свой патефон,— недовольно проворчал Адигезал,— тебя хлебом не корми, только дай языком поворочать.

Сурия-ханум вскинулась на мужа:

— Не прикажешь ли мне отрезать язык? Уж лучше отрежь язык своей сестры.

Адигезал попытался что-то сказать, но махнул рукой и вышел из комнаты. Сурия-ханум удовлетворенно кивнула головой и уселась на стул.

— Вот старый болтун. Скажи спасибо, что я тебя от него избавила. По крайней мере теперь сможешь спокойно поработать... Так вот, девочки хорошо поужинали. Съели долму с молоком, Эльмира, умница, даже попросила добавки. А на Людмилу пришлось накричать. Но в конце концов тоже все съела. Я обещала, что ты в воскресенье сходишь с ними в кино, на детский сеанс. Они на вас с матерью в обиде. Почему, говорят, никогда не берут нас в кино? Потому, отвечаю, что дети до шестнадцати лет на вечерние сеансы не допускаются. Вот купим телевизор, тогда смотрите на здоровье. Так знаешь, что Эльмира мне ответила? Пока папа соберется купить телевизор, нам стукнет по шестнадцать лет.— Сурия-ханум рассмеялась.— Ты посмотри, какая умница. За словом в карман не полезла.

Ахмед захлопнул книгу. Читать под непрерывную болтовню матери было невозможно.

— Ты ложись, мама, а я пройдуся, подышу перед сном воздухом. Встречу Веру.

— Иди, иди, сынок,— Сурия-ханум зевнула, прикрыв рот рукой.

На улице было тихо. Лишь откуда-то издали доносились невнятные шумы засыпающего города. А вверху на фоне нежного мерцания неба чернел силуэт старинной крепости Нарын-Кала. Ахмед не спеша шел по улочке, погруженной в сонную тишину. «Как странно устроена жизнь,— раздумывал он.— Людмила и Эльмира радостно приветствуют каждый новый день, ибо он приближает долгожданное шестнадцатилетие, желанный момент, когда наконец упадут преграды и можно будет

без оглядки пользоваться всеми благами жизни, то есть,— Ахмед ласково улыбнулся,— ходить на вечерние сеансы в кино. Жизнь спешит им навстречу. А от человека, разменявшего третий десяток, жизнь уходит. Оттого каждый новый день не радует его. Одним новым день прибавляет, у других убавляет. Время, казалось бы, для всех общее: сутки — двадцать четыре часа, час — шестьдесят минут. Но это только видимость. На самом деле — время разное, в зависимости от человека».

Ахмед вздрогнул. Кто-то, незаметно подкравшись сзади, закрыл руками его глаза.

— Вера! — он схватил ее руки, оторвал от своего лица и, обернувшись, с силой обнял жену и прижал к себе.

— Пустил! Пустил! Сумасшедший... на улице... — но он не отпускал, силясь поцеловать ее в губы. — Что ты, что ты, Ахмед, как не стыдно, — она пыталась вырваться, но безуспешно. — Отстань, все лицо исколол своими усами...

— Это ничего. Терпи. Усы украшают мужчину...

Наконец она вырвалась и убежала. Шагов за двадцать от него остановилась и обернулась. Видно было, как во тьме смутно белело ее лицо.

— Обещаешь, что не будешь больше дурить? — в голосе ее зазвенела улыбка. — Не то побегу домой одна.

— Ладно. Обещаю. — Ахмед не удержался и тоже улыбнулся.

Когда они пришли домой, там было тихо. Все уже спали.

— Что это, Ахмед, — войдя в комнату и включив свет, спросила Вера. Взгляд ее остановился на ватмане.

— Проект реконструкции виноградников. Скоро, дорогая, на наших старых плантациях лопату заменят тракторы. Начнем вот здесь, с участка бригады Рахмана.

— Почему Рахмана? За что именно ему выпала такая честь?

— Он инициатор реконструкции. К тому же, Рахман у нас один из лучших бригадиров.

Вера вздохнула и грустно усмехнулась.

— Все вы, мужчины, хороши. Когда спите. Да еще, пожалуй, на работе. И то не всегда.

Ахмед пожал плечами и недоуменно взглянул на жену.

— О чем ты, Вера?

— Так, ни о чем.

— Что-нибудь случилось?

• — Ничего особенного... Так...— Вера умолкла и принялась стелить кровать.

— Нет, погоди, я слишком хорошо тебя знаю. Я вижу, что-то произошло.

— Ничего. Давай ложиться.

— Нет, постой. Ты что-то от меня скрываешь. Я же чувствую. Вера, меня не проведешь. Говори!

Вера присела на край расстеленной постели и рукой показала мужу, чтобы сел рядом.

— С Рахманом неладно. Ведет себя нехорошо. Грубит, кричит на жену, на детей. Начал пить. После партийного собрания, когда его не выбрали секретарем, пришел домой пьяный... Рахман переменялся. Совсем другим стал.

— Откуда ты все это знаешь?

— Хумор рассказала. Под строгим секретом... Перед дежурством я зашла в поликлинику. Заглянула в кабинет врача и кого, ты думаешь, увидела? Хумор. Сидит одна, бледная, заплаканная. Спрашиваю, что случилось? Молчит, плачет. Я приласкала ее, кое-как успокоила. Когда она отошла, рассказала мне все подробно.

Ахмед задумался. Помрачнел. Закурил.

— Послушай, Ахмед, вы же друзья. Поговори с ним, пока они вконец не рассорились. Они же любят друг друга.

На другой день Ахмед на винограднике несколько раз порывался поговорить с Рахманом, но все не получалось. То дела не позволяли, то люди были вокруг. Лишь под конец рабочего дня, когда колхозники собрались домой и сели в машины, Ахмед на ходу бросил Рахману.

— Приедем в город, зайди в парткабинет. Надо поговорить.

Рахман хотел было спросить, о чем, но шофер нетерпеливо просигналил, и он поспешил взобраться в кузов машины.

В парткабинете было накурено и беспокойно. Каждую минуту входили и выходили люди. У всякого было дело к секретарю, так что разговор не клеился. Рахман сидел за длинным столом, заваленным брошюрами и подшивками газет и журналов, рассеянно листал иллюстрированный журнал с яркими цветными фотографиями и с досадой думал: «Чего ему от меня понадобилось? Зачем позвал и почему тянет резину, не говорит?»

Наконец, воспользовавшись тем, что вышел последний посетитель, а новый еще не зашел, Ахмед подошел к двери и запер на ключ.

— Чтобы не мешали,— пояснил он, подошел к Рахману, сел рядом с ним и, положив свою ладонь на его руку, спросил:— Почему давно не заходил к нам домой?

Левая бровь Рахмана взметнулась кверху, глаз подозрительно прищурился. Тут что-то не то. Не затем же он вызвал, чтобы сообщить, что соскучился.

— Все некогда. Времени не хватает. Со временем просто зарез,— уклончиво проговорил Рахман.

— Все мы заняты. Но товарищи не вправе забывать друг друга. Фронтовые товарищи в особенности. Не так ли?

— Разумеется,— поспешно согласился Рахман и насторожился: куда все же клонит секретарь?

— Да и Вера относится к вам, как к родным. Хумор для нее все равно, что родная сестра. Ты же знаешь, у нее здесь никого. А к вам она привыкла.

— Ладно, зайдем как-нибудь. Как говорится, если бог даст, зайдем,— Рахман попытался улыбнуться, но улыбка вышла какой-то жалкой и печальной. Он встал, давая понять, что разговор окончен.

— Нет, погоди,— удержал его Ахмед.— Знаешь что,— он вдруг заговорил решительно и резко.— Не знаю, какой я друг, но дипломат я никакой. Словом, чего там финтить. Ты мне прямо скажи, что там у вас с Хумор происходит?

Рахман грузно опустился на стул.

— Ничего... Ничего особенного...— глаза его загорелись недобрым огнем.— А что, уже успела наклепать?

— Вот видишь, какой ты, Рахман? Я Хумор и в глаза не видел. Зачем на нее наговариваешь? Если б ты даже и избил Хумор, она о тебе все равно ни одного дурного слова не сказала бы. Ты ведешь себя недостойно. Нехорошо ведешь себя, Рахман. Об этом уже и слух пошел. Что-то, а худое разносится быстро. Так что ты крепко подумай о своем поведении. А на Хумор не обижайся. И на меня тоже не сердись.

Но Рахман был обижен и рассержен. «Что я сделал плохого? А если даже и сделал что не так, почему о моих взаимоотношениях с женой должен знать Ахмед? И не только знать, но и судить. Кто дал ему право вмешиваться в нашу семейную жизнь?

Так рассуждал про себя Рахман. И чем дольше он думал, тем суровее осуждал жену, считал ее виновницей всех бед. Сколько Ахмед ни уговаривал его, он никак не успокаивался. Наконец, скрепя сердце, он все же дал обещание исправиться.

— Ну, вот и хорошо,— повеселел Ахмед.— На то и друзья, чтобы помогать друг другу. В жизни всякое бывает. И если случится потерять ориентир, настоящий друг всегда поможет выйти на правильную дорогу.

Ахмед, как и многие люди, простодушно полагал, что стоит человеку дать обещание исправиться, как все неминуемо переменится к лучшему. Так думал и Рахман. Когда он давал Ахмеду обещание, он был абсолютно искренен. Но в действительности все оказалось не так.

Придя домой, Рахман приветливо улыбнулся родителям, приласкал детей и, довольный собой, умиленный и размягченный, прошел в спальню с твердым намерением помириться с женой.

Хумор спала на полу, у окна. На широкой супружеской кровати, купленной тещей к свадьбе, вот уже сколько ночей Рахман спал один. «Как все это глупо»,— с досадой поморщившись, подумал Рахман и улегся, не раздеваясь, на кровать. Он лежал, вслушиваясь в тишину,— дыхания Хумор не было слышно,— и чувствовал, как растут в нем раздражение и злость. Начинать разговор надо было сейчас же, немедленно, но он не мог этого сделать: еще не спали старики. И он лежал, уставившись в темноту, и боролся с недобрыми чувствами, одолевавшими его. Сколько времени прошло, он не знал, то ли пять минут, то ли пять часов. Наконец, в доме все стихло. Рахман встал, снял башмаки и в одних носках, бесшумно ступая по прохладному полу, прошел в комнату родителей. Старики спали.

Он так же бесшумно вернулся в спальню, подошел к окну, присел на корточки и погладил жену по голове. Хумор вздрогнула.

— Я пришел к тебе с миром. И за миром. Встань, Хумор. Иди ко мне.

— Уйди,— глухо и зло проговорила она.

— Прости меня, Хумор, если я чем обидел тебя.

— Не трогай меня,— она с силой оттолкнула его руку.— Мне не нужны твои извинения.

— Тебе не нужны мои извинения? — с горечью и печалью спросил Рахман.— Может, и я уже не нужен тебе?

— Нет. Не нужен.

— Так кто тебе нужен?— голос Рахмана сорвался на крик.— Может быть, плешивый Бебе с его вечными приставаниями? Ты думаешь, я не видел, как этот прохвост пялил на тебя глаза на свадьбе? Думаешь, не слышал дурацкую песню, которую он тебе пел? Я вижу, Бебе милее тебе. И не один я заметил это. После того вечера немало людей то же самое заметили,— Рахман понимал, что несет вздор, но злость захлестнула его, и он, как ни желал, уже не в силах был остановиться.

— Как тебе не стыдно,— Хумор скинула с себя одеяло и села на матрасе.— Я тебя ждала всю войну. Бебе засылал сватов, задаривал шелками, золотом. Я гнала их всех в шею, забрасывала камнями. И вот теперь слышать такое...— она заплакала, тихо и жалобно.— Нет, Рахман, не знала я, что ты такой человек.

— Значит, я нехороший? Значит, я никуда негодный человек?

Хумор молчала. И плакала, тонко всхлипывая. В слабом луче света, струившегося из окна, ее лицо выглядело бесконечно печальным. Плечи мелко вздрагивали. С левого сползла бретелька и тоскливо повисла на руке.

К горлу Рахмана подкатил горький комок. Он сделал усилие и проглотил комок. Уязвленное самолюбие, ущемленная гордость, злоба пересилили жалость, смягчившую было его. Он встал и отошел от Хумор. Уже на ходу бросил.

— Если я нехорош, ищи себе другого. Пожалуйста. Скатертью дорога.

Рахман лег на кровать и укрылся с головой одеялом, стараясь ни о чем не думать и ни к чему не прислушиваться.

Хумор встала, поспешно оделась, подхватила на руки спящую дочку, та вскрикнула во сне, но, успокоенная матерью, замолчала.

Хлопнула дверь, и в комнате вновь стало тихо.

— Хумор,— вполголоса позвал Рахман.

Никакого ответа.

— Послушай, Хумор...

Он вдруг понял: произошло нечто дурное, постыдное, почти непоправимое, то, что надо немедленно исправить. Он сбросил одеяло, вскочил, зажег свет. В комнате было пусто. Детская кроватка тоже стояла пустая.

Рахман бросился на веранду.

— Хумор, куда ты? Вернись, Хумор!—в ночной тишине голос его прозвучал необычайно громко и самому ему показался до неузнаваемости чужим.

Стукнула входная калитка. Хумор ушла, забрав с собой дочку, ушла к матери, жившей напротив, через дорогу.

Разбуженные шумом, проснулись старики. Встревшие, растерянные, полуодетые, они стояли на веранде и никак не могли понять, что же произошло.

— Что случилось, Рахман?—с тревогой спросил Азиз, пожевываясь от ночной прохлады.

— Ушла... Хумор ушла из дому.

— Лучше бы мне ослепнуть, чем увидеть такое!—закричала Баджи.— Лучше бы мне согнуться со свету, чем дожить до такого черного дня. Чем ты обидел ее?

Рахман молчал. За него ответил Азиз.

— А я знаю. Я все знаю. Мой сын сошел с ума. Уже давно. С того самого дня, как его в начальство не выбрали.

— Одумайся, отец. Что ты говоришь?

— Не я говорю, все говорят. Потому что это правда. Совсем голову потерял. Решил, что умнее тебя никого на свете нет. Не переизбрали. Ну, и что ж? Дело общественное, кого хотят, того и выбирают.

— Да я об этом и не думаю.

— Нет, думаешь, шайтан, думаешь. Ведь тебя оставили бригадиром? Оставили. Так ты работай, не заносись. Ни отец твой, ни дед хакимами не были. Были мы бедными людьми, копались на чужой земле, не заносились. А ты выше головы норовишь прыгнуть.

Рахман не удержался:

— Да замолчи ты наконец. Что ты на меня набросился?

— На тебя не набрасываться надо. Тебя сечь надо. Да стыдно. Взрослый уже.

Рахман больше не мог слушать отца. Но и пререкаться не стал. Закусив губу, он ушел в свою комнату.

Старики остались одни. Баджи как-то разом сникла. Притихшая, напуганная, она сидела на ступеньках веранды, сжавшись в комок, и растерянно приговаривала:

— Что же будет? Боже ты мой, что теперь будет?

Азиз, напротив, весь подобрался. Энергичный и решительный, он расхаживал по веранде и думал.

— Вот что, старая,—наконец, остановившись, заявил

он.— Нечего нюни распускать... Надо быстро что-то делать. Пока по городу слух не пошел. Пока злые языки не взялись за работу... Ступай к Хумор сейчас же. Уговори ее вернуться. Приведи с собой.

— Что ты, что ты, Азиз,— заплакала Баджи.— Лучше мне провалиться сквозь землю, чем идти туда. Стыд, позор...

— Иди, старая, иди,— голос Азиза звучал жестко и требовательно.— Так надо. Другого выхода нет.

Баджи со стоном поднялась со ступенек и, прихрамывая, побрела за калитку.

И Хумор и мать ее Мелка были еще на ногах. Они испуганно вскинули глаза на Баджи, появившуюся на пороге. Вид ее был страшен: с мокрым от слез лицом, она стояла в дверях, рвала на себе волосы и царапала в кровь изборозжденные морщинами щеки.

— Успокойся, мама, ради бога, успокойся,— Хумор подбежала к старухе, усадила ее на стул, стала отпаивать водой.

— Вернись сейчас же, вернись домой,— прохрипела Баджи.

— Не могу... Не могу, мама. Нет больше сил терпеть его оскорбления.

— Ну, тогда мне остается одно,— Баджи решительно поднялась на ноги,— пойду домой, оболью себя керосином и подожгу.

То, что она сказала, было настолько нелепым, что Хумор еле сдержала улыбку. Впрочем, она понимала, что старуху в самом деле мучительно терзает горе, выразить же чувства у нее не хватает слов, простых, скупых и правдивых. И она пользуется старыми, затрепанными, давно потерявшими реальный смысл выражениями, которыми столь же бессмысленно пользовались веками ее предки и передавали своим потомкам из века в век. Поиному думала Мелка. Она знала, что существует не только горе, но и ритуал его. И исполнять его так же необходимо, как умываться по утрам или наряжаться, когда идешь на люди. Поэтому Мелка, подобно Баджи, рванула свои волосы и принялась царапать лицо ногтями.

— Ай, Баджи, ай сестра моя,— пронзительно, с громкими всхлипываниями рыдала она,— не обливай себя керосином. Не сжигай себя на огне. Не дай врагам своим радоваться. Пусть бог все несчастья твои взвалит на спину врагов твоих... А ты, дочь моя,— обернувшись к Ху-

мор, деловито прибавила она,— вернись в свой дом. Утешь своих матерей.

— Хорошо, мама,— проговорила Хумор.— Я вернусь,— и Баджи и Мелка тут же перестали плакать и заправили волосы под платки.— Но не сейчас. Потом. Пусть он хотя бы немного почувствует то, что пережила я.

— Ладно, ладно, дочка, спасибо тебе,— Баджи зато-ропилась домой.— Пусть бог сделает так, чтобы часть моей жизни перешла к тебе и Рахману.

Старуха вытерла краем платка глаза и засеменила к выходу. Мелка, провожая ее, на ходу говорила:

— Не убивайся, Баджи. Все утрясется. Люди они молодые — поссорились, помирятся.

Немало дней прошло с той ночи. Рахман все ждал и ждал. Но Хумор не возвращалась.

ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДИТСЯ

Рабочий поезд Дербент—Махачкала отходил рано утром. В ту ночь Асаил почти не спал, не оттого, что боялся опоздать на поезд, а оттого, что беспрерывно думал о предстоящем дне. О том дне, которого он так долго ждал. Асаилу предстояла поездка в обком по вызову партийной комиссии.

Едва забрезжил рассвет, как старик встал, тихо, чтобы не разбудить жену, оделся и, мягко ступая на носках, двинулся к двери. Но навстречу ему вышла Евдит.

Она, оказывается, встала раньше и хлопотала на кухне, приготавливая мужу завтрак.

— Садись, поешь на дорогу. До поезда еще много времени.

Асаил отрицательно покачал головой:

— Спасибо, старая. Не хочу.

— Ай, Асаил, ты больной человек. Если себя не щадишь, пощади по крайней мере меня. Выпей хотя бы стакан простокваши.

— Разве мне до еды?

— Если ты протянешь ноги, скажи, какой будет прок в твоём партбилете?

— Глупая ты, старуха. Ну, как ты не можешь понять, что, когда я вновь получу партбилет, мне и умирать будет не страшно.

Евдит всплеснула руками:

— Вай, несчастная моя мать! Зачем выдала замуж за неисправимого человека? Зачем обрекла меня на мучения?

Старик примирительно улыбнулся.

— Ну, ладно, жена, тебя не переспоришь. Давай свою простоквашу — и спору конец.

Хотя Асаил и пошучивал, чувствовал он себя неважно. Все время ныло под ложечкой.

Евдит поставила на стол стакан кислого молока. Старик сдобрил его сахаром и ложка за ложкой, небольшими глотками, выпил. Боль постепенно улеглась.

— Ну, мать, спасибо тебе. А теперь я пошел.

— В добрый путь, Асаил.

Евдит проводила мужа до порога дома и, когда он переступил его, выплеснула вслед кружку воды. По старинному поверью это должно было принести удачу. Евдит не отличалась суеверностью, но дело, с которым столкнулся Асаил, было важным, и старуха так горячо желала благополучного исхода, что не смогла удержаться, чтобы не призвать на помощь сверхъестественные силы.

В обком Асаил пришел рано. До начала рабочего дня оставалось еще двадцать минут.

— Пойдите погуляйте пока, — предложил дежурный.

Но разве старику было до прогулок? Ему не терпелось встретиться с секретарем парткомиссии. Однако делать было нечего, он отправился бродить по городу. Прошелся по улицам, по аллеям городского сада, посидел на скамье неподалеку от моря.

Здесь было хорошо. Утренний воздух, прозрачный и чистый, был напоен нежным ароматом цветов и соленым запахом моря.

Мимо проходили люди: веселые, грустные, озабоченные, легкомысленно пересмеивающиеся, спешащие и лениво бредущие — и никому из них не было дела до Асаила. Это казалось ему странным и непостижимым. Он сидел на скамье, глядел на пеструю толпу, текущую мимо, и никак не мог уразуметь, почему все эти люди не знают того, что известно ему и, казалось бы, должно быть известно каждому: они не знают, что вот сейчас решится то большое и чрезвычайно важное, чего он ждал столько лет и в чем видел смысл своей жизни. Ему хотелось встать, броситься к этим людям и рассказать им все о се-

бе. Ему хотелось сделать всех этих людей богаче и счастливее, чем они есть... Взглянув на часы, он поднялся со скамьи и быстрым шагом пошел по направлению к обкому.

Прежде чем войти в кабинет секретаря парткомиссии, Асаил вынул из кармана маленькое зеркальце и придирчиво оглядел себя. Накануне он чисто выбрился, и теперь щеки отливали синевой. Глаза, несмотря на бессонную ночь, глядели бодро и весело.

Асаил поправил сбившийся набок галстук и вошел. В кабинете было двое. Один — моложавый, со смуглым, подвижным лицом, другого Асаил не разглядел: он сидел в кресле перед столом, спиной к двери.

— Проходите, товарищ Бинаев, присаживайтесь,— пригласил смуглолицый, сидевший за письменным столом, видать по всему, хозяин кабинета.

— Здорово, Асаил! Здорово, дружище! Сколько ж мы с тобой не виделись? Почитай, лет пятнадцать!

С кресла поднялся приземистый, коренастый человек с пышной седой шевелюрой и сжал Асаила в своих объятиях.

— Узнаешь?

— Еще бы не узнать — Фомичев.

— Он самый.

— Жив, здоров, ты и представить себе не можешь, как я рад тебя видеть!— взволнованно бормотал Асаил, щуря глаза, чтобы скрыть набежавшие слезы радости.— Ты из Москвы в командировку к нам приехал?

— Совершенно верно. Садись, старина. В ногах правды нет.

— Выходит, гора с горой не сходится, а старые знакомые...— улыбаясь, проговорил секретарь парткомиссии.

— Какие там знакомые — старые друзья,— перебил Фомичев.— Я же тебе говорил, мы с ним до войны вместе работали в Дербенте. Я секретарем райкома, он редактором газеты... Ну, Асаил, выкладывай, как все эти годы жил, работал. Что сейчас делаешь?

Асаил подробно рассказал о своем житье-бытье.

— А как с общественной работой?— спросил секретарь парткомиссии.

— Долгое время проводил с колхозниками антирелигиозные беседы.

— А теперь?

— Не провожу.

— Почему?— насторожился Фомичев.

Старик нехотя рассказал о событиях, происшедших не так давно в колхозе «Дербент».

— Из-за меня пострадал хороший коммунист, фронтовик, бывший секретарь колхозной партийной организации Рахманов. Обвинили в потере бдительности. За то, что доверил идейное воспитание людей бывшему раввину, чужаку, исключенному из партии.

Секретарь парткомиссии и Фомичев переглянулись.

— А Мамедов что по этому поводу думает?— спросил Фомичев.

— Не знаю. Не разговаривал с ним. Говорят, инструктор райкома вызывал Рахманова, отчитывал. Якубов его фамилия.

— Так, так,— Фомичев постучал карандашом по столу, вытащил пачку «Казбека», закурил. Сизое облачко дыма потянулось к открытому окну. В комнате стало тихо. С улицы донеслись звонкие голоса детей.

— А почему ты до сих пор не подавал заявление о восстановлении в партии?— спросил Фомичев, и голос его прозвучал неожиданно резко.— Неужто обиделся?

— Что ты, что ты!— бледное лицо старика покрылось слабым румянцем.— Обидеться на партию?! Да я за партию Ленина, не задумываясь, жизнь отдам. Партия для меня и отец и мать. Все эти годы, сколько я ни страдал, ни мучился, ни минуты не чувствовал себя беспартийным. Всей душой, всем существом своим был с партией. Читал лекции, выступал с докладами, проводил беседы, да разве словами расскажешь,— он закашлялся, вытер пот, выступивший на лице, и продолжал.— Почему я раньше не подавал заявления? Разве не подавал!? Сразу же после исключения подал. Сказали — подожди. Я ждал. Во время войны подал. Не сумели рассмотреть. Люди все время менялись в райкоме. Вот теперь снова подал. В ЦК написал,— старик вдруг слабо охнул и, словно надломившись, осел на стул.

Он согнулся, сжал обеими руками живот. Секретарь парткомиссии достал из шкафа бутылку минеральной воды, налил стакан, подал Асаилу.

— Выпейте, полегчает.

— Спасибо,— Асаил небольшими глотками опорожнил стакан.— Все в порядке. Уже прошло. Вы меня извините.

— Ничего, ничего, старина. А вот за здоровьем надо

следить. Ремонтировать организм надо. Время от времени.

— Мы вас больше беспокоить не будем, товарищ Бинаев,— сказал секретарь парткомиссии.— Поезжайте домой. Берегите себя. А в обком вас скоро вызовут.

Асаил неприятно удивился. Он ждал, что дело его решится сегодня же, а тут новая проволочка. Но вслух ничего не сказал. И только прощаясь с Фомичевым, проговорил.

— Теперь ты живешь в Москве, далеко от нас. Но не забывай Дербент. Заезжай. Всегда будешь желанным, дорогим гостем.

Когда Асаил вышел, Фомичев, оставшись наедине с секретарем парткомиссии, задумчиво сказал:

— Знаешь что, я назвал бы этого человека фанатиком марксизма. Хотя,— он усмехнулся,— формулировка эта явно неуставная.

ПЕРЕД ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ

В поликлинике перед кабинетом, где работала Хумор, была большая очередь. Вызвать подругу никак не удавалось, шел прием. И Вера, запасшись терпением, ждала. Пришла она сюда по поручению мужа.

— Ты сходи к ней,— настаивал Ахмед,— обязательно сходи.— Сколько же можно. Надо, наконец, их помирить. Ведь любят же они друг друга, черт бы их побрал, а уперлись, как упрямые козлы на узкой дороге. И ни один не хочет первым уступить. На носу восьмое марта. Позови их к нам. Скажи, если, мол, не придешь с мужем к нам на праздник, обидимся. И веди себя так, будто и мысли не допускаешь, что они еще не помирились.

Прием, наконец, окончился, и Хумор вышла в коридор.

— Вера! Заболела?— удивилась и забеспокоилась она.

— Что ты, что ты, я здорова. И тебе того же желаю.

— Впрочем, оно и по тебе видно. Ты отлично выглядишь.

— Ты тоже, моя дорогая,— Хумор выглядела ужасно: бледное, осунувшееся лицо, черные круги под глазами.

— Какое там,— Хумор махнула рукой.— Краше в гроб кладут.

— Что, опять дома неприятности?

— Устала. Работы много.

— Вот я и пришла, чтобы тебя отвлечь. А вернее сказать, развлечь. Восьмого марта не только наш общий, но и мой личный праздник. В этот день я родилась на свет. Так что прошу тебя вместе с Рахманом придти к нам. Если вы не придете, я буду очень огорчена. Значит, договорились?

— Посмотрим... Постараемся...

— Нечего смотреть. Ждем.

Она поспешно обняла подругу, расцеловала и ушла, довольная тем, что столь удачно справилась со своей дипломатической миссией.

В тот же день Ахмед встретился с Рахманом.

— Вера зовет тебя и Хумор на свой день рождения. Восьмого марта. Понял?

Рахман обрадовался.

— Придем, обязательно будем,— он решил, что лучшего предлога для примирения с женой и желать нечего.

Баджи, увидев Рахмана, радостно встрепенулась. Таким веселым он давно уже не приходил домой.

— Что, мама, Хумор не была?

Старуха помрачнела:

— Лучше не спрашивай, сынок. Твоя мать скоро сойдет с ума! Пусть бог превратит в черные угли тех, кто наслал на нас эту беду. Подумать только — мать двоих детей, и бросила дом. Какой стыд! Какой позор!

— Ничего, мама, сейчас мы со всем этим покончим.

— Что ты еще надумал?— старуха забеспокоилась.— Нет, Рахман, ты меня в гроб вгонишь.

— Пойду к ней и уговорю. Упрошу вернуться домой.

Первым желанием Баджи было кинуться к сыну, вцепиться в него обеими руками, не пускать. Подумать только, мужчина будет упрашивать женщину. Где это слыхано! Узнают люди, засмеют. Но, с другой стороны, что еще оставалось делать? Другого выхода нет. И старуха смирилась.

— Иди,— тихо проговорила она.— Да поможет тебе бог... Только предупреди Мелку, чтобы держала язык за зубами, не позорила нас.

Хумор была дома. Сидя на диване, она причесывала маленькую Марал. Мелка, присев на корточках перед низеньким столиком, на котором белел тонкий лист раскатанного теста, нарезала лапшу.

— Папа! Папа пришел!— вскричала Марал и, вырвавшись из рук матери, бросилась на шею отцу.

— А, чтоб тебя...— рассердилась Хумор.— Иди сюда, я закончу тебя причесывать.

— Не пойду. Хочу побыть с папой,— упрямо проговорила Марал и еще сильнее прижалась к Рахману.

— Чтоб тебя шайтан забрал,— вспылила Хумор, но, встретившись взглядом с Рахманом, закусил губу и смолкла.

— Хумор,— усилием воли сдерживая себя, проговорил Рахман.— Восьмого марта именины Веры. Нас приглашают. Не пойти нельзя. Слышишь?

— Пойдите, обязательно пойдите,— вмешалась в разговор Мелка.— Не надо обижать людей.

— Вот хорошо,— захлопала в ладоши Марал. И мне шоколадку принесете?

— А что мы ей подарим?— спросила Хумор.

— Я уже купил коробку конфет «Сюрприз» и шелковую косынку.

Хумор криво усмехнулась:

— Так я и знала. Хуже ничего не мог придумать?

Рахман смущенно развел руками:

— Разве на вас, женщин, угодишь? Пойдем вместе, купим то, что надо,— он обрадовался, разговор разыгрываясь, как по нотам.

Хумор молчала.

— Конечно,— поддержала Рахмана Мелка.— Ступай, это твое дело — выбрать подруге подарок.

— Всем давно известно, что у тебя лучший вкус в Дербенте,— он покраснел, лесть показалась ему слишком грубой.

— Ну, чего ты сидишь? Чего ждешь?— напустилась на дочь Мелка.— Лучше бы твоей матери сквозь землю провалиться. Вставай, негодница, сейчас же вставай. Человек сам к тебе пришел, первым. А ты лицо воротишь. Бесстыдница, с вышки минарета на мужа смотришь... Иди, иди к себе домой. Тебе здесь больше нечего делать.

Хумор покраснела, но вступать с матерью в перепалку не стала. Поднявшись, она подхватила на руки дочь и решительно проговорила:

— Пошли.

Когда они вышли во двор, Рахман, торопливо пробормотав, что сейчас вернется, бросился обратно в дом.

— Спасибо, мама, большое вам спасибо,— он обнял и расцеловал Мелку.— А на нее не сердитесь. Мы еще зайдем потом. Она попросит прощения.

— Да поможет вам бог, детки,—сквозь слезы расстроганно проговорила Мелка.— Пусть враги наши сгорят в огне и утонут в воде. А для меня нет другой жизни, кроме вашей. И другого счастья, кроме вашего.

— Рахман, ты скоро? — слышалось со двора.

— Иду! Иду!

ВОЛК В ОВЧАРНЕ

В доме Шамаиловых готовились к пасхе. Старуха Сенем, напав на себя обноски, белила потолок. Кисть, которой она работала, была старой, и то и дело соскакивала с ручки, обдавая и ее самоё, и стены, и пол жирными брызгами.

— Лучше бы мне умереть, чем так мучиться.— Сенем в который уже раз насаживала на ручку кисть.— Сколько просила Бебе починить — как горохом об стенку. В кого только он уродился такой? О доме совсем не думает. Вот и крутись день-деньской, как проклятая. И мужскую и женскую работу делай, чтобы ему пусто было.

— Мама, о чем ты там? Я плохо тебя слышу,— крикнула со двора Либо.

— Это я так, сама с собой. Не обращай внимания. Делай свое дело.

Во дворе на длинной веревке были развешаны ковры. Либо, вооружившись палкой, выбивала из них пыль.

— Что ты делаешь, дочь моя? Разве палкой ковры выбивают?— Сенем вышла во двор с ведром, наполненным белилами.

— А как же мне бить? Я же одна с ними не управлюсь.

— Погоди, вот окончу побелку, тогда мы вдвоем и вытряхнем их. А пока протри в доме мебель, приготовь воду, будем мыть полы.

Либо взглянула на небо. Солнце стояло в зените.

— Ай-вай, уже полдень. Когда же мы обед приготовим? Если не поспеть с обедом, твой сын устроит такой тарарам, из дому сбежишь.

— Лучше бы мой сын остался без матери. Разве на

него угодишь? Есть в доме обед — сидит в ресторане. Нет обеда — он тут как тут со скандалом.

Старуха как в воду глядела. Не успела она это сказать, как появился Бебе.

— Что тут у вас творится! — недовольно пробурчал он.

— Сам не видишь?! Готовимся к празднику. До пасхи остались считанные дни.

Бебе нахмурил брови.

— Только и знаете, что праздники справлять. Черт знает что, когда ни придешь домой — погром.

— Ты бы лучше помолчал, — резко ответила Либо. — Живешь гостем. И пальцем не шевельнешь, чтобы что-нибудь по дому сделать. Не нагнешься, не поднимешь щепки с земли. Как тебе только не совестно. Старуха-мать замучилась. Посмотри, какой кистью приходится ей работать. Другой давно бы починил:

— Клянусь твоим рыжим отцом, мне остается только одно — поступить на курсы подготовки мастеров по ремонту кистей, — съязвил Бебе. — Других забот у меня нет.

— Оставь моего отца в покое, — не выдержала Либо, — тебе нет до него никакого дела. Так же как ему до тебя.

— Конечно. Ведь я уже не работаю на винном складе. Тогда рыжий кулак не мог без меня обойтись.

— Замолчи! Не смей так говорить о моем отце! Ты не стоишь его мизинца.

— Ай-вай, детки, — попыталась умиротворить их Сенем. — Ссориться перед праздником — бога гневить.

— Что вы ко мне лезете со своим богом, — вопреки логике Бебе кричал не на мать, а на жену. — Мне сейчас не бог, а обед нужен. Я голоден, как собака. Обед готов?

Женщины понуро молчали.

— Ну да, так я и знал, — обрадовался Бебе, — так и есть, жрать, конечно, нечего. Не дом, а шарашкина контора. Разогнать бы всех вас к чертовой матери. Дармоеды! Сил моих больше нет!

Все это по-прежнему адресовалось Либо. Сенем попыталась убаюкать сына:

— Не сердись, сынок. Успокойся. Сейчас я тебе яичек сварю.

— Не нужны мне твои яйца. Ешь их сама, — со злостью крикнул Бебе матери и ушел со двора.

Улицы в этот час, когда все находились на работе, были малолюдны. Лишь у коньячного завода торчало несколько человек. Расположившись в холодке, они о чем-то оживленно беседовали. Бебе искоса взглянул на этих людей и прибавил шаг. Он считал себя деловым человеком и не любил праздно шатающихся. А это как раз были они. Забор коньячного завода издавна стал местом сборища городских шалопаев, своеобразным клубом, куда они сходились поточить лясы.

— Ай, Бебе, ай, джан-племянник! Пстой!

От группы отделилась некая личность, заросшая до ушей седой щетиной, в остроносых галошах на босу ногу, с длинной, немилосердно дымившей трубкой в зубах. Это был Танхум.

— Ну, чего тебе? — не замедляя шаг, спросил Бебе.

— Дело есть, — Танхум нагнал племянника и на ходу стал жаловаться. — Плохи мои дела, ох, как плохи. Хуже некуда. Заработков никаких. Хотел было поехать на Дальний Восток с вином — случая нет. А надвигаются праздники. И ни копейки в кармане. Детишек надо поить, кормить, одевать...

— Сказка про белого бычка. Кто о чем, а ты об одном и том же. Как только не надоест... Что ты хочешь от меня? Нет у меня денег. Понимаешь, нет. Ведь теперь я на винном складе уже не работаю.

— Не сердись, не черни свою кровь, дорогой племянник. Призови на помощь память. Вспомни старое. Как я помогал тебе, как на ноги поставил.

— Ну вот, опять завел свою пластинку. Что тебе от меня нужно? Чего ты хочешь?

— Поговори со знакомыми. Замолви словечко.

— А у тебя знакомых нет, что ли? Скажем, твой старый дружок Ханука. Теплое местечко отхватил. Жирный кусок. Мог бы и с тобой поделиться.

— А что он теперь делает? — заинтересовался Танхум.

— На ферме учетчиком работает. И коровы, и птица, и мясо, и яйца, и молоко — все в его руках.

— Ишь ты, шайтан, изловчился, — восхищенно проговорил Танхум и, помолчав, умозаключил: — Пролез волк в овчарню.

Бебе презрительно усмехнулся:

— Дорогой мой дядя, ты хоть и седой, а глупый. Знаешь, дорогой, не суди и не судим будешь. Вместо то-

го, чтобы глупости болтать,— он остановился и огляделся по сторонам,— сходил бы к Хануке, взял у него кур, яичек, молока и отдал ребятам. А они — все это на базар. Выручка — тебе и Хануке. В результате и ты и он не в накладе.

Танхум слушал, разинув рот. Вдруг в глазах его появилось выражение испуга.

— Ва-а... Но это же воровство, спекуляция. Поймают — верная тюрьма.

— А ты что хотел, чтобы деньги тебе прямо в постельку принесли с поклоном? Кто любит свежую рыбку, не должен бояться холодной воды. Чьи это слова? Помоему, твои.

— Так-то оно так, но ведь это преступление.

— Ша, тихо. О чем разговор? Какое такое преступление? Колхоз так или иначе будет продавать мясо и молоко государству. А у колхоза продукты заготавливаю я. И документы оформлю тоже я. Так что сходи к Хануке и скажи, что пришел от меня. Все будет оформлено чин по чину. Документы будут в полном ажуре. Словом, тебе бояться нечего.

Танхум обрадовался — появилась возможность хорошо подработать. Но он и струсил — что если поймают? Впрочем, последние слова племянника его успокоили. Все будет оформлено. «Документы будут в полном ажуре». Больше всего на свете Танхум верил документам, даже если они заведомо фальшивые.

— Только одно условие: что бы ни случилось, я в стороне. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Понял?

— Понял, понял. Дай бог тебе сто лет жизни, дорогой племянник.

Повеселевший Танхум распрощался с Бебе и потрусил на колхозную ферму.

Глава третья

СОЛДАТ ПАРТИИ

Асаил брел по узкой окраинной улочке. Несмотря на нещадный зной полуденного солнца, его голова, низко опущенная на грудь, была непокрыта, шаг сбивчив и не-

тверд. Вдруг старик остановился, оглянулся. Улочка была пустынной. Лишь в самом конце ее виднелась женщина, идущая по теневой стороне тротуара с кошелкой в руке.

Асаил вынул из кармана платок, вытер глаза и вновь побрел. Он возвращался с кладбища, куда теперь ходил каждый день. Там, неподалеку от стены, затерявшись среди заросших травой дорожек, находился свежий могильный холм. Под ним покоилась Евдит. Все горести и все невзгоды,— а ими изобиловала большая и беспокойная жизнь Асаила,— она делила с мужем. Плечом к плечу сопровождала его по рытвенному и тернистому пути, не сходя с него ни на шаг в сторону. И вот, когда, наконец, долгожданная радость пришла, Евдит не удалось насладиться ею. Вскоре после восстановления мужа в партии она умерла, в одночасье, от кровоизлияния в мозг.

Теперь дом не радовал, а печалил старика. Без Евдит комнаты как-то сразу опустели, стали холодными и неуютными, хотя в них оставались жить две дочери, трогательно заботившиеся об отце.

Асаил теперь старался меньше бывать дома. С самого раннего утра, пока берег еще пуст, он уходил к морю, сидя на песке, глядел на колышущуюся зеленую ширь и беззвучно рыдал.

Потом, когда пляж заполнялся людьми, шел на кладбище, а оттуда не домой, а в близлежащий сквер, где на одинокой скамье и проводил остаток дня.

Оставаться один на один с горем плохо. Но еще хуже, считал Асаил, навязывать свое горе другим. Потому он сторонился людей и даже с родными дочерьми старался бывать как можно меньше.

У входа в сквер стояла Сара, младшая дочь Асаила. Она беспокойно поглядывала по сторонам. Завидев отца, появившегося из-за угла, Сара бросилась ему навстречу.

— Что случилось, доченька? — спросил Асаил запыхавшуюся от бега девушку.

— Папа, я тебя с самого утра ищу. За тобой из райкома приходили. Сказали, чтобы к Мамедову шел, срочно.

— Хорошо, доченька. С обедом не ждите. Я в столовой поем.

— Опять, папа... Сколько ж это можно. Ты себя губишь. С твоим здоровьем питаться в столовой... Нет, как

хочешь, а я тебя больше туда не пущу. Ни за что,—в голосе девушки задрожали слезы.

— Ну ладно, ладно,— Асаил ласково погладил Сару по голове.— Ступай, дочка. Я приду обедать домой.

* * *

Мамедов встал из-за письменного стола и поспешил навстречу появившемуся в дверях Асаилу. Он крепко пожал старику руку и усадил в кресло, стоявшее перед столом. Сам сел напротив.

— Ну, как жизнь? — спросил он, чтобы с чего-то начать разговор.

— Ничего. Идет потихоньку. Двигается, так сказать.

— Пенсию получаешь?

— Да, спасибо,— Асаилу недавно была назначена персональная пенсия.

— Дома все в порядке? — Мамедов осекся, привычный вопрос в данном случае звучал неуместно. Мамедов знал о горе, постигшем старика.— Я в смысле дочерей,— поправился он и густо покраснел.

— Я тебя понял, товарищ Мамедов,— печально улыбнулся Асаил.— Спасибо за внимание.

— А вообще, дядя Асаил, бороться с горем в одиночку трудно. Думаю, тебе надо больше бывать с людьми. Так лучше и для тебя, и для людей! Чаше посещай колхозы, выступай с лекциями, беседуй с людьми, изучай их настроения, помогай добрым словом и мудрым советом. Словом, включайся в партийную жизнь. Скоро уборка винограда. Каждый день, каждый час будет на счету. Я боюсь, что наступят религиозные праздники и опять все пойдет по-старому. Люди потянутся в синагогу вместо того, чтобы идти на работу. Так что для тебя, дядя Асаил, дел невпроворот.

Через несколько дней в колхозном клубе собрались люди. В первом ряду среди других стариков восседали седобородый Эсеф и его друг Азиз.

— Тихо,— прикрикнул на расшумевшийся зал заведующий клубом и протянул руку с выставленной кверху ладонью.— Сейчас состоится лекция на тему «Религиозные праздники и их вред». Лектор — товарищ Бинаев, то есть всем известный дядя Асаил.

Зал мгновенно притих, Асаила любили слушать.

И действительно, говорил он просто, доходчиво, со страстной убежденностью. Его лекция изобиловала меткими определениями, примерами, то и дело пересыпалась острыми шутками.

— Вот скажем,— говорил Асаил,— в канун судного дня, кипура, верующие режут кур. Вернее, не сами режут, а относят раввину, чтобы он зарезал. Перед этим курицу вертят над головой и приговаривают молитву. В ней молят бога вселить в жертву, то есть в курицу, все беды и несчастья человека, совершающего жертвоприношение. А потом что получается? Зарезанную раввином курицу дарят к празднику родственникам — брату, сестре, дяде, племяннику. Выходит, что все беды и несчастья перекладываются на шею ни в чем неповинных людей. Справедливо, неправда ли? И делается это с помощью бога и его верных слуг раввинов.

Зал зашумел. Одобрительные возгласы, крики протеста, смех, хлопки, шиканье слились воедино.

Асаил выпил воды и продолжал.

— Как видите, тот, кто справляет кипур, оскорбляет близких, желая им всего наихудшего. Если бы все верующие понимали смысл совершаемого ими обряда, то давно отказались бы от столь бесчеловечного праздника.

— Правильно, дядя Асаил! Крой их, чертей полосатых! — восторженно заорал какой-то парень.

— Заткнись, харамзада! — зашипел Эсеф.

Заведующий клубом постучал стеклянной пробкой о графин.

— Мы должны справлять революционные праздники,— закончил Асаил.— Первое мая, годовщину Октябрьской революции, День Конституции. Они являются праздниками дружбы и братства, свободы и труда. А религиозные праздники лишь сеют ядовитые семена раздора.

Многим слушателям очень понравилась лекция. Но были и такие, которые вышли из клуба хмурыми, недовольными.

На другой день слух о лекции разнесся по городу. Достиг он и синагоги. Раби Хаим и старейшины религиозной общины вновь ополчились на Асаила, на чем свет браня и понося его. А когда неделю спустя местная газета опубликовала лекцию о судном дне, ярость раби Хаима достигла предела. Рано утром, придя в храм, он вместо того, чтобы подняться на амвон и начать молитву, собрал сокруг себя стариков и принялся за громкое чте-

ние. Читал он сбивчиво, по слогам, немилосердно коверкая русские слова, но газету из рук не выпускал, не доверяя чтение кому-либо другому. Руки раби Хаима при этом дрожали, голос осип, на лбу проступили крупные капли пота. Они медленно, одна за другой скатывались вниз, на широкую бороду.

Старик Шафадие, тот самый, который в свое время столь неудачно пытался вернуть Асаила в лоно синагоги, отшвырнул в сторону четки, которые все время перебирал, и решительно проговорил:

— Клянусь могилой Моисея, клянусь могилой отца своего, такого богохульства я еще в жизни своей не слышал. Проклятый старик спятил с ума. Оскорблять всемогущего господа, чернить святую книгу наших отцов! Ах, шайтан!

— Вай-вай-вай, почтеннейший Шафадие, для тебя это новость? — раби Хаим саркастически усмехнулся. — Он еще сорок лет назад предал веру отцов, восстал против бога. Вот этими самыми ушами я слышал его поганую речь, он произнес ее тогда на митинге.

— Так чего мы церемонимся! — Шафадие покраснел, как индюк. — Лишить иудейства! Прогнать из стада паршивую овцу.

— Правильно, — раби Хаим удовлетворенно почмокал губами, — надо объявить ему от имени общины: «Когда ты умрешь, шелудивый пес, мы тебя не станем хоронить по законам отцов и дедов».

На том все и порешили.

В полдень Асаил сидел, как обычно, в скверике на одной из отдаленных скамеек. Парило. Небо все больше и больше темнело. Вдруг налетел ветерок, беспокойно зашуршал листвой. Где-то за морем пророкотал раскат, похожий на невнятную канонаду.

Старик протянул руку. На нее упало несколько редких капель.

Асаил встал и пошел прочь из сквера. Подойдя к дому, он увидел щуплого мужчину, сидящего на лавочке у калитки. Беспокойно поглядывая на небо, он теребил редкую черную бородавку.

— Здравствуй, дядя Асаил, а я тебя жду.

— Что надо?

— Меня послала община.

— Община? — Асаил нахмурился. — Какие у меня могут быть с ней дела?

— Не у тебя с ней, у нее с тобой... Может быть, зайдем в дом? Начинается дождь.

— В моем доме тебе делать нечего. Говори здесь.

— Как хочешь.—Мужчина поднял воротник пиджака: дождь усиливался.—Здесь так здесь. Я на тебя не в обиде. Только и ты на меня не обижайся. Пойми, я тут не при чем. Мое дело маленькое. Мое дело передать тебе то, что решили другие.

— Кто решил, что решил? О чем ты болтаешь?

— Сейчас все будет ясно. Только ты на меня не кричи. Я человек маленький,—он собрался с духом и решительно выпалил:—С сегодняшнего дня ты исключен из нашего списка.

— Из какого списка?

— Из списка иудеев. Так что, когда ты, не дай бог, умрешь, община не будет хоронить тебя по обряду.

Посланец растерянно смолк, сам испугавшись того, что сказал.

Асаил расхохотался.

— Только и всего? Ну и напугали вы меня. Аж все поджилки задрожали,—он вдруг посуровел.—Хотя, что с вас взять? Кто вы? Невежды, жалкие дикари... В общем, передай своему раби Хаиму: меня похоронят коммунисты, рабочие, колхозники... Так что иди к своему раби Хаиму и скажи ему, чтоб он лучше позаботился о своих собственных похоронах.

— Ай-вай, дядя Асаил, зачем так говоришь?

— Какой я тебе дядя? Твой дядя раби Хаим. Вот к нему и ступай. Передай все, что я сказал. И еще прибавь: я до последнего вздоха буду бороться с религией и выводить на чистую воду всех раввинов и попов.

Дождь припустил что есть мочи. Теперь он уже лил как из ведра. Асаил посмотрел, как яростные косые полосы поглотили щуплую фигуру посланца раби и вошел в дом.

КАНУН СУДНОГО ДНЯ

Вечерело. Лучи закатного солнца, пробиваясь сквозь густую листву вьющегося винограда, играли на лице и курчавых волосах Марал. Рахман сидел с дочкой в беседке и тихо напевал песенку о девушке, чьи глаза — спелые виноградинки.

Стукнула калитка. С улицы в сад вошел Азиз.

— Дедушка! Дедушка пришел! — обрадовалась Марал.

— А-а-а, моя крошечка, иди ко мне.

Девочка соскочила с рук отца и повисла у деда на шее.

— Вот кому я завидую.— Азиз усадил внучку к себе на колени и ласково погладил по голове.— Ей по крайней мере пока не надо ни о чем тревожиться.

— О чем ты, отец?

— Да все о том же. Только что поругался с Эсефом. Этот старый ишак разозлился на Асаила. «Он, харамзада,— говорит,— смешал с грязью наши обычаи, нашу веру, наших духовных отцов!» «Ай, джан Эсеф,— спрашиваю я,— почему надо верить этой старой лисе раби Хаиму? И почему надо злиться на такого порядочного человека, как Асаил?» Молчит, думает, потом отвечает: «Потому что еще отец учил меня: будь верен богу и слугам его. Вот я и выполняю завет отца». «Он, джан Эсеф,— говорю ему,— твой отец был темным человеком. Потому и верил раввинам. А теперь другие времена. Пойми, Советская власть вот уже скоро полсотни лет; как просвещает нас...» Так знаешь, что мне ответил мой друг Эсеф? «Иди, говорит, со своим просвещением к ишаку под хвост».

— Ай, Азиз, что ты там распустил свой язык! Хотя бы постеснялся ребенка,— крикнула Баджи с веранды, где она пекла лаваш.— Иди, внученька, в сад, погуляй.

— Иди, Марал, иди. Тебе неинтересно слушать разговоры взрослых,— согласился с матерью Рахман.

— Почему, папа? Очень даже интересно.

— Иди, поиграй с Шамаем. Он, наверно, уже сделал уроки,— Азиз ссадил девочку на пол, и она убежала.

— Ты напрасно нападаешь на отца, мама. И он и дядя Асаил правы. Большинство раввинов — плуты и пройдохи. Они от верующих требуют одного, а сами делают другое. Недаром в народе говорят — не делай того, что велит раввин, а делай то, что он сам делает.

Старуха бросила стряпню и вышла в сад.

— Я знаю, куда ты клонишь. Завтра кипур, так вы решили лишить меня праздника... Несчастливая моя голова.— Баджи всхлипнула.— Мне осталось немного жить на этом свете, так не заставляйте меня грешить на старости лет. Дайте спокойно умереть.

Она разрыдалась. Рахману стало жаль мать, он ее обнял и стал успокаивать.

— Ай, Баджи, кто тебе не дает праздновать кипур?— засуетился Азиз.— Мы не мешаем тебе. Празднуй на здоровье. Но что касается нас, так мы завтра пойдем на работу. Убирать виноград будем.

— Да, да, мать, мы не принуждаем тебя. Придет время — сама поймешь.

— На том свете,— сквозь слезы и всхлипывания проговорила Баджи.

— Ладно, пусть празднует на здоровье.— Азиз ленно подмигивал сыну, дескать, не перечь, пусть поступает, как знает.— Делай свое дело, старая.

Старуха разом повеселела, утерла краем платка глаза и кликнула внука.

— Что тебе, бабушка? — спросил подошедший Шамай.

— Сыночек мой, чтоб мне умереть на этом месте перед тобой и твоим отцом, бери курицу и неси к раби Хаиму резать.

Шамай молчал и не двигался с места.

— Что же ты молчишь? Ты не слышал, что я сказала, чтоб мне онеметь?

— Я не понесу, бабушка,— тихо, но твердо проговорил мальчик.— Это же позор — пионеру нести к раввину курицу.

— Раз ребенок не хочет, не надо его заставлять.

— А кто его заставляет, глупая твоя голова,— она вздохнула.— Видно, уж придется мне самой пойти.

Бормоча что-то под нос и неодобрительно поглядывая то на сына, то на мужа, старуха вошла в дом, надела широкое кашемировое платье и темный калагай — шелковый платок. Потом направилась в сарай и вернулась оттуда с петухом и курицей в руках.

— Ай, Азиз,— позвала она мужа.— Иди-ка сюда.

— Зачем?

Азиз и Рахман покинули беседку и подошли к Баджи.

— Не бойся, я не пошлю тебя к раби Хаиму. Возьми эту птицу и покрути над нашими головами. А уж я схожу сама.

— Только не над моей головой,— Шамай убежал.

— И не над моей,— сказал Рахман.

Азиз глянул на жену, на сына и хитро прищурился.

— Ну что, жена, выходит, кроме тебя, других охотни-

ков нет? Так и быть, ладно, давай свою живность, покручу ее над твоей головой.

— Смейшься? Ай, Азиз, ты не надо мной, ты над богом смеешься,— помоячав, Баджи с горечью и тихой печалью добавила:— Жалко мне тебя, Азиз. От всей души жалко. На старости лет ты потерял разум. Стал слушаться детей, плясать под их музыку. Ну да бог с тобой. Не мне судить тебя. Господь бог, вот кто твой судья... А теперь,— она заговорила деловым тоном:— Крути курицу над моей головой, петуха над своей, что же касается яичек, я их сейчас принесу, положу в шапки Рахмана и Шамая и в платки Хумор и Марал, и ты их тоже покрутишь... Так тоже можно. Я спрашивала раввина, он разрешил.

— Еще бы,— Азиз рассмеялся.— Он все разрешит. Ему лишь бы свое получить.

Баджи рассердилась.

— Дай, бог, чтоб сестра твоя в могиле сгорела, не раздражай меня,— она взглянула на небо и заторопилась.— Скоро стемнеет, раби Хаим откажется резать. Пошевеливайся, старый.

...Раби Хаим, заложив руки за спину, расхаживал по своему двору, ожидая очередного посетителя. Двор был большим, просторным, с добротными сараями и пристройками.

— Добрый вечер, раби! С наступающим праздником. Во двор, низко кланяясь, вошла Баджи.

— Спасибо, сестра. Дай бог счастья твоей семье.

Баджи оглядела двор. На плотно утрамбованной земле тут и там видны были ржавые пятна крови. На стене подле двери висел мешок, из него торчали перья.

Старуха отдала раввину петуха, курицу и два рубля денег — по целковому за голову.

Раби Хаим взял петуха, ловко скрутил ему шею, ощипал и аккуратно спрятал перья в мешок, висевший у двери.

«Так вот оно что,— подумала Баджи,— оказывается, ему мало денег за кур. Он еще и куриные перья собирает, чтобы потом продать на перины. Ну и жаден старик. Сколько ни имеет, все ему мало. И зачем? Зачем же он копит эти деньги? Ведь один, ни детей, ни жены. Должно быть, собирается выложить всю свою могилу деньгами».

— Ай, сестра моя, ты что, заснула?— прервал ее размышления раби Хаим,— возьми своих кур и ступай.

Во двор уже входил новый посетитель — сухощавый старик с двумя курицами и петухом в руках. Петух устался на Баджи злым и растерянным взглядом и, изогнув шею, отчаянно закукарекал.

ХВАТИВШИ ЛИШКУ

Заведующий молочнотоварной и птицеводческой фермами Аббас Аббасов был человеком простым и бесхитростным. В прошлом чабан, ездовой, бригадир, он на склоне лет выбился в начальство и очень гордился этим. Свое выдвижение Аббас рассматривал как законную дань трудолюбию, добропорядочности и честности, которыми он действительно обладал. Единственное, чего не хватало Аббасу, — это элементарной грамотности. Как был он на заре колхозного движения темным, малограмотным крестьянином, так и остался им. Всякий раз, когда ему приходилось ставить свою подпись под одной из многочисленных бумажек, ежедневно уходивших с фермы в правление, он вздыхал, пытался, сокрушенно качал головой и в конце концов, натужившись, выводил крупными пляшущими каракулями: «Абасц».

Но при всех своих неладах с письменностью в одном Аббас разбирался отлично — в цифрах. Какими бы многозначными ни были числа, складываемые из них, Аббас оперировал ими бойко и безошибочно. Он быстро и точно подбивал итог, споро умножал, вычитал, делил. Одним словом, с пестрой цифирью управлялся не хуже, чем в свое время с беспокойными отарами овец.

Но на этот раз, просматривая длинные колонки цифр, Аббас растерялся. То, что он увидел, привело его в величайшее недоумение. Он еще раз пробежал глазами сводку, лежавшую на столе, трубно высморкался, подергал себя за бороду, что он делал всегда, когда волновался, и оторопело проговорил:

— Ничего не пойму. Или я пьян, или цифры пьяны, или ты в доску был пьян, когда составлял этот отчет.

— О чем ты говоришь, Аббас-даи? — отозвался Ханука, сидевший за столом напротив Аббаса и щелкавший на счетах. — Я, конечно, не дурак, выпить люблю... Но на работе, ты же знаешь, убей — каплю в рот не возьму.

Аббас с сомнением покачал головой и подошел к окну. За окном сиял золотистый день. Склоны гор, к кото-

рым прижались постройки фермы, курчавились зеленью виноградников. А выше, за виноградниками, вздымались к бледно-синему поднебесью гранатовые и инжирные деревья. Чуть слышные, доносились с далеких горных лугов переливы пастушьей свирели.

— Непонятно. Ничего непонятно,— Аббас вернулся к столу.— Выходит, мы уже выполнили свой годовой план. Так, что ли?

— А как же. Ты что, сам не видишь?— Ханука, не отрываясь от счетов, протянул своему начальнику исписанную цифрами бумагу.— Скоро и годовое обязательство выполним.

— Ва! — не то обрадовался, не то удивился Аббас и закурил. В тесной конторе удушливо запахло самосадным дымом. Аббас нагнулся над столом и принялся внимательно изучать цифры.— Послушай,— наконец проговорил он,— мы продали государству от силы сто тонн молока. А у тебя здесь записано сто пятьдесят. Или я разучился считать?

Ханука отодвинул в сторону счета и поднялся с места. Он покраснел и, чтобы скрыть это, обогнув стол, встал за спиной Аббаса.

— Нет, не разучился. Мы продали сто пятьдесят тонн.

— Постой, постой,— худое лицо Аббаса вытянулось, длинные усы беспокойно зашевелились («Точно две пиявки извиваются»,— отметил про себя Ханука).— Ты что-то путаешь. Если у меня еще не отшибло память, у нас на ферме только пятьдесят дойных коров. Разве каждая корова дала по три тонны молока?— вдруг он озлился и заговорил резким, обиженным тоном.— Ты думаешь, юлдаш Ханука, если Аббас человек неученый, так его можно обкрутить вокруг пальца? Шалишь.

— Ва-вай, Аббас-даи, о чем ты говоришь? О каком таком пальце?— Ханука явно струхнул.

— Не перебивай, ишачий хвост. Слушай, что я говорю,— загремел на всю контору Аббас,— я пока еще не проглотил свою голову. И хорошо помню, что коровы, закрепленные за Ненейгыз, дали не больше чем по две тысячи литров и коровы Алагёз по столько же.

Ханука понял, что провести начальника не удастся, и решил пойти ва-банк. Нагловато ухмыльнувшись и на всякий случай отступив на шаг,— Аббас славился тяжелой рукой,— он, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Разве я не говорил тебе, Аббас-даи, что мы частично сдали яички и кур взамен молока? С заготовителями я договорился, так что тут полный порядок... А что в этом плохого? — он говорил теперь вкрадчиво, стараясь излагать свою мысль как можно более убедительней. — В этом году у нашего колхоза много птицы. Она нас и выручит. А вообще, не все ли равно? Главное, не остаться в долгу перед государством. Главное, выполнить план. А мы его не только выполнили, но и перевыполнили.

Аббас молчал, растерянно моргая длинными ресницами.

— Ты, Аббас-даи, получишь премию. А ферме присудят переходящее Красное знамя.

Аббас, казалось, не слышал того, что говорил Ханука. Он сумрачно сосредоточенно думал. «Так мне и надо, старому ишаку. С первого дня создания колхоза работаю, как вол. Никогда никого не обманывал. И никогда никого не подводил. А теперь попался на удочку плута. Стал обманщиком».

Он двинулся на Хануку, гневный, решительный, злой:

— Паскудник! Ты забыл, что работаешь в колхозе. Кто тебе позволил распоряжаться колхозным добром? Ханука попятился к двери.

— Ай, джан Аббас, ведь мы не себе взяли птицу, горю она ясным огнем. Мы продали ее государству, заготовителям. Чин-чинарем, по квитанции. А что птица пошла за молоко — кому какое дело? Квитанции у нас на руках. Бумажка к бумажке. Полный порядок.

— Замолчи, шайтан, — Аббас как-то разом смяк. Сняв папаху, он вытер рукавом вспотевший лоб и тяжело опустился на табуретку. — Прохвост ты, Ханука, — чуть слышно проговорил он. — Жулик. Знал бы, что ты такой, за тысячу верст не подпустил бы к ферме... Ведь надо же. Я твоего отца с детства знаю. Хороший человек, честный. А вырастил брандахлыста. Видно, не зря говорят в народе: шипы рождают розу, а роза — шипы.

— Ай-вай-вай, зачем так говоришь, Аббас-даи?

— Я с тобой еще не так поговорю!

В это время за окном остановилась линейка. С нее сошел Ахмед и быстрыми шагами направился в контору.

— Добрый день, — войдя, он поздоровался за руку с Аббасом и Ханукой. — Где доярки? Ну-ка, быстро соберите их.

Аббас побледнел.

«Все,— подумал он.— Началось. Наверно, в городе раскрыли плутни Хануки».

— Что с тобой, Аббас-даи? — удивился Ахмед.— Кажется, я ничего плохого не сказал. Только попросил со-брать доярок.

— Сейчас, сию минуточку.

Ханука выбежал из комнаты. Аббасу хотелось все начистоту рассказать Ахмеду. Но в последний момент он струсил. Подленькая мысль о том, что, разоблачая учетчика, он тем самым подводит под удар и себя, парализовала его. «Какой же ты руководитель,— рассуждал Аббас,— если подчиненный обвел тебя? Тебе не фермой заведовать, а гонять отары овец». Перспектива снова стать рядовым чабаном никак его не прельщала. Больше того, решительно отвращала Аббаса. Не говоря уже об утрате материальных благ,— а расставаться с ними ему, уже успевшему вкусить сладость начальственного пирога, никак не хотелось,— его основательно пугала и моральная сторона дела. «Пересесть со скакуна на ишака! Кому после этого покажешься на глаза?».

Ахмед прервал невеселые мысли Аббаса.

— Ну вот и люди пришли,— оживленно проговорил он,— здороваясь с вошедшими в контору доярками.— Может быть, пройдем в красный уголок, там просторнее?

— Да, да,— поспешно согласился Аббас.

Его немало удивило, что Ахмед, судя по всему, был в отличном расположении духа, улыбался дояркам, шутил. «На его месте,— думал Аббас,— я бы не смеялся, а плакал. Обман государства. Разве тут до смеха!»

Он вконец растерялся, когда в красном уголке Ахмед вынул из кармана газету и, развернув, радостно сообщил:

— В сегодняшнем номере хвалят вашу ферму. Вы за три квартала выполнили годовой план по молоку. Это большая победа. Поздравляю вас, дорогие товарищи. Мы призовем всех колхозников равняться на вас. Вы — наши маяки!

Слушая Ахмеда, Аббас не знал, куда себя деть от стыда. Ханука же, напротив, сиял, расточая улыбки то одной, то другой доярке. Но девушки сидели хмурые. Известие, видать, не очень обрадовало их.

— Что вы, девушки, приуныли? — недоумевал Ахмед.— Или случилось что?

Доярки молчали.

— Такая радость, а вы скучные. Странно.

— Вот и мне странно, товарищ Ахмедов,— со своего места с решительной порывистостью поднялась молодая доярка Рукият, в ее черных глазах сверкали недобрые искорки.— Как мы могли выполнить годовой план за три квартала! Ведь многие у нас и по две тысячи литров с коровы не надоили. Откуда же взялись сто пятьдесят тонн? Тут какая-то особая арифметика. Нас в школе такой не учили.

Ахмед непонимающе посмотрел на Аббаса. Тот отвел глаза. Ханука беспокойно заерзал на стуле.

— Я не знаю, где Аббас-даи взял столько молока,— продолжала Рукият,— чтобы досрочно выполнить план. Может быть, купил у других колхозов? Пускай тогда скажет.

— Ай, Рукият-ханум,— Ханука скроил умильную рожицу.— Мы не купцы. Мы ответственные работники.

Дружный взрыв хохота покрыл его слова.

— Что все это значит, Аббас-даи?—Ахмед помрачнел.

Аббас встал, подергал кончики усов и начал было отвечать, как вдруг послышался шум подъехавшей машины. Все обернулись к двери. Она резко распахнулась, и в комнату влетел Мукаил. По тому, как он на ходу сорвал с себя плащ и со злостью швырнул на скамейку, Ахмед понял, что случилось нечто неладное.

— Сколько за девять месяцев надоено молока?— с места в карьер напустился Мукаил на Аббаса.— А ну-ка скажи!

Аббас ткнул пальцем в Хануку.

— Вот он, учетчик, пускай он и ответит.

Мукаил побагровел.

— Я не его, а тебя спрашиваю,— он сорвался на крик.— Фермой заведует ты, ты и отвечай!

— Спокойно, Мукаил,— осадил его Ахмед.— Крик плохой помощник в делах.

Мукаил достал клетчатый платок, вытер покрасневшую лысину, сел к столу и тихо проговорил.

— Давай сюда все бумаги, проверим учет надоенного молока... А вы, девушки, идите работайте. Потом мы вас соберем.

Ханука, порывшись в шкафу, выложил кипу документов.

Руки его при этом заметно дрожали.

— Учет надоя правильный, юлдаш Мукаил,— он спрятал руки за спину.— Внимательно выслушайте меня, юлдаш Мукаил. Я все разъясню...

Увидев, что запыряться бесполезно, он сознался во всем.

— Почему ты это сделал? Кого обманул?

— Ва, дорогой Мукаил, я же не себе брал. Я для колхоза старался.

— Врешь, негодяй! Ты себе премию выколачивал,— снова не сдержался Мукаил.— А ты, где ты был?— набросился он на заведующего.— Куда смотрел? На кой черт мы тебя заведующим поставили?

Аббас чуть не заплакал. Это еще больше разозлило Мукаила.

— Шляпа! Только не хватало, чтоб ты слюни выпустил. Зови народ.

В красном уголке собрались все работники фермы, и Мукаил рассказал обо всем, что случилось. Потом, попрощавшись, сел вместе с Ахмедом в машину и уехал.

— Ты понимаешь,— дорогой рассказывал он Ахмеду.— Когда в райкоме прочли газету, меня обозвали очковтирателем. А я краснел, как последний дурак. Что мог я ответить на правду? Нет, ты только подумай, какой мерзавец этот Ханука? Подвел под монастырь. Тут я виноват. Проморгал. Прошляпил. Давно уже ходили слухи, что спекулянты торгуют на рынке курами с нашей птицефермы. Все собирался проверить, да так и не собрался. Руки не дошли. Текучка заела.

— Это наша общая вина... Хануку надо гнать. Чтобы и духа его поганого на ферме не было. А вместо Аббаса придется подбирать другого заведующего. Он человек честный, но малограмотный. Такой воз ему не под силу.

Мукаил молча кивнул головой. Разговаривать ни ему, ни Ахмеду больше не хотелось. Так в полном молчании и доехали они до правления.

Не успела улечься пыль за колесами председательской машины, как Ханука заторопился в город. Он хорошо понял, что на ферме ему больше делать нечего. Ханука, будучи от природы человеком решительным и энергичным, не привык тратить время на бесплодную скорбь по случившемуся. Он сразу же принимался думать о будущем. Тем более сейчас ему было, над чем поразмыслить.

Ханука отчетливо понимал, что над ним нависла угроза суда и исключения из партии. В том случае, разумеется, если будут раскрыты связь с Танхумом, воровство колхозных кур, спекуляция ими на рынке. И теперь все мысли его были устремлены к тому, чтобы этой угрозы избежать.

Но сколько он ни ломал голову, ничего путного сам придумать не мог. И потому, едва дождавшись вечера, поспешил к своему испытанному другу и советчику Бебе.

Ханука шел по городу, обволакиваемому задумчивыми сумерками, по притихшим улицам, что сменяют деловую суету дня на мирный покой вечера, мимо окон, зажигающих первые огни. Он видел людей, собравшихся за столом на вечернюю трапезу, утомленных, но свободных от забот и потому спокойных. И ему было грустно, грустно и печально оттого, что он лишен всего этого нехитрого и, вероятнее всего, самого мудрого счастья жизни, счастья усталости и отдохновения, счастья хорошо прожитого трудового дня.

Под ногами тихо шуршал палый лист. Из раскрытого окна плыл печальный и невыразимо прекрасный голос скрипки. Где-то далеко, быть может, в Москве, а, может быть, за морем, тосковала скрипка, а радиоволны, то затухая, то разгораясь, несли ее певучую жалобу.

Ханука остановился, с минуту постоял, качая низко опущенной головой, потом со злостью поддал спичечный коробок, валявшийся под ногами, и пошел своей дорогой.

У калитки перед домом, подперев руками двойной подбородок, сидела на лавочке Либо. Рыхлое лицо ее, густо окрапленное веснушками, освещал фонарь, висевший у ворот.

— Добрый вечер, сестра! Видно, моего друга Бебе нет еще дома?

Либо вздохнула и мысленно послала проклятие и своему благоверному и его другу.

— Твой приятель не из тех, кто приходит с вечера домой.

— Да, он человек занятой. Дела...

Ханука снял кепку и стал обмахиваться ею. Либо удивилась: «С чего это его вдруг бросило в жар? Солнце, вроде бы, не печет».

— Как ты думаешь, сестра, где я мог бы его найти?

«Тебе лучше знать. У какой-нибудь бабы. Сам не раз с ним ходил»,—подумала Либо, но не сказала, а только пожала плечами.

То, о чем подумала Либо, пришло в голову и Хануке. Словно мгновенно сработал телепатический телеграф.

«Наверно, у какой-нибудь бабы»,—решил Ханука и поспешно распрощался с Либо.

Он направился в вокзальный ресторан. «Если Тамара сегодня выходная, значит, Бебе у нее дома»,—умозаключил он.

В ресторане в этот час было пусто. Тамара, пышнотелая блондинка в белом переднике и белой наколке, стояла у стены и вяло перебрасывалась словами с другой официанткой.

Ханука огорчился.

«Плохо дело. Она здесь, его нет. Спросить? Не обиделась бы. Чего доброго, обругает и выставит из ресторана. Разве вор признается, что на руку нечист?»

Ханука с минуту подумал и наконец нашел выход. Он подошел к Тамаре и заискивающе захихикал.

— Я извиняюсь, сестричка. Потерял, понимаешь, друга. И никак не найду. Такой полный, интересный мужчина. С редкими волосами. Он тут частенько бывает. Бебе его звать, а по-русски — Борис. Может быть, вы случайно даже знаете его.

Тамара загадочно улыбнулась.

— Да, такой человек бывает в нашем ресторане. Он постоянный наш гость. Но сегодня не был. Так говорите, пропал? — она игриво повела глазами.

— Как сквозь землю провалился. А мне он нужен, позарез. С ног сбился искавши... Посоветуй, сестричка, что делать, куда идти?

— Одну минуточку,—Тамара с непостижимой для ее комплекции легкостью вспорхнула с места и понеслась меж столиками принимать заказ от двух военных, появившихся в зале.

Ханука мучительно думал. «Где искать проклятого Бебе? Может быть, у вдовы Аснат? Но как найти ее дом?» Однажды он по пьяной лавочке был вместе с Бебе у Аснат, но адреса, конечно, не запомнил.

— Эй, гражданин! У нас не полагается одевши!

Это кричал усач-швейцар.

— Сейчас, дорогой, сию минуту уйду. Только скажу человеку два слова.

Перед швейцаром стоял Бебе. Собственной персоной, в новом демисезонном пальто нараспашку и фетровой шляпе, лихо сдвинутой набекрень.

— Ва, Ханука, что ты тут делаешь? Наверно, хороший калым зашиб. Решил обмыть... Еще бы, молоко, курочки, яйца...

Он громко, на весь ресторан, расхохотался.

Ханука пугливо стрельнул глазами.

— Выйдем на улицу. Есть серьезный разговор.

— Успеешь. Мне нужно кое-кого повидать.

— Потом. Не сбежит твоя Тамара. Здесь она.

Они вышли на привокзальную площадь, завернули за угол, в темный переулок.

— Ну, что опять натворил?

Бебе вынул коробку «Казбека», закурил.

— Дай и мне папироску,— попросил Ханука.

— Надо поменьше пить, да побольше своих иметь,— Бебе был в отличном настроении.— Знаешь пословицу «Кто хочет есть дерьмо, тот должен носить при себе ложку»?

Ханука молчал. Ему было не до пословиц.

— Ладно,— разрешил Бебе.— Говори.

Ханука подробно рассказал обо всем, что утром произошло на ферме. Бебе слушал вполслуха, невозмутимо попыхивая длинной папироской.

— Ну, и что же ты хочешь всем этим сказать?— лениво спросил он, когда Ханука окончил свой рассказ.

— Как что! — растерялся Ханука.— Ведь меня сотрут в порошок!

Бебе молчал, разминая в пальцах горящую папиросу. Ханука не спускал с него глаз, с нетерпеливой тревогой ожидая ответа.

Бебе аккуратно стряхнул пепел.

— Послушай, Ханука. Хватит с меня твоих грязных делишек. Я достаточно помогал тебе. А теперь конец, баста. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Сам нагадил, сам и убирай. А меня не запутывай. Понятно?— глаза его смотрели на Хануку в упор, стальные, пустые, бесстрастные.

— Ва, что ты говоришь, ай Бебе. Ведь все эти беды свалились на мою несчастную голову из-за твоего знаменитого дядюшки. Ты же сам велел отдавать ему птицу и яйца. Ты же обещал в случае чего помочь. Разве не ты говорил — рука руку моет, а руки моют лицо.

— Я еще раз повторяю: раз попал в дерьмо, там и сиди, не рыпайся и не чирикай. Заложишь меня, тебе будет плохо. Очень плохо,— он помолчал и уже другим тоном добавил:— Из колхоза тебя, конечно, исключат. Ну и пусть. Не велика беда. Я помогу тебе устроиться. Но заруби себе на носу — обо мне молчок! Ни слова!

Ханука задумался.

— А если исключат из партии?

— Тут уж ничем помочь не могу. Но помни, без работы не останешься. И голодать не будешь... Ну, ладно, нечего горевать. И не такое перемалывали. Пошли,— он взял Хануку под руку и повел в ресторан.

Ночью Хануке спалось плохо. Он перепил, и его без конца рвало. Лишь под самое утро ему, наконец, удалось уснуть.

Проснулся он от сильных и частых толчков в бок. Ими его потчевала Хагило.

— Вставай, вставай, проспишь работу.

— Уйди, голова болит.

— Надо меньше пить, пьяница проклятый.

— Пошла вон, дочь шелудивого пса,— Ханука пнул жену ногой в живот.

Хагило пронзительно взвизгнула.

— Ой, чтоб твоя мать в могиле сгорела!

— Что ты сказала? — Ханука, опухший, лохматый, страшный, поднялся с кровати, схватил палку, стоявшую в углу комнаты, и принялся дубасить жену.

Хагило пыталась обороняться, но, сбитая сильным ударом, упала на пол. Озверевший супруг настиг ее и принялся бить еще сильнее.

На отчаянные вопли Хагило сбежались соседи. Они с трудом уняли разбушевавшегося Хануку и увели Хагило к себе.

Через несколько дней Хануку вызвали на партийное бюро. Здесь ему припомнили все: и неблагоприятные дела на ферме, и неоднократные нарушения дисциплины, и пьянство, и зверское избиение жены.

— Мы с тобой немало возились. Да, немало возились,— сказал в заключение Ахмед.— Но как волка ни корми, он все в лес смотрит. Всему есть предел, Ханука. В том числе и нашему терпению, таким, как ты, не место в партии.

— Какое вы имеете право так со мной разговаривать? — огрызнулся было Ханука, но его прервал Мукаил.

— Есть предложение исключить.

Остальные члены бюро единодушно согласились с ним. Ханука выслушал решение со спокойным безразличием и, только выходя из комнаты, где происходило заседание, так хлопнул дверью, что стены задрожали.

НЕПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Всю ночь напролет сыпал снег. Последний снег старого года и первый снег года нового. Снег выбелил город, и он стоял обновленный, будто только что родился на свет.

Асаил проснулся на ранней заре. Его разбудила боль под ложечкой. Старик взглянул в окно и обмер. Крыши домов, мостовая, тротуар лучились голубовато-белым мерцанием, нежным, спокойным и тихим. Глядя на чудо, в одну ночь преобразившее природу, Асаил невольно проникся тем ощущением бодрости, какое приходит к человеку с первым снегом. Даже боль, и та, казалось, унялась.

Он встал, умылся — захладававшая за ночь вода из умывальника в сенях обожгла и еще больше взбодрила его, — оделся, наскоро позавтракал и тихо, чтобы не тревожить дочерей, вышел из дому.

На улице было так славно, что он на миг даже зажмурился. Как все же хорошо жить на земле, где воздух удивительно чист, прозрачен, где в первозданной тиши существуешь лишь ты и природа в единой и неразрывной слитности.

Хриплое побряхтывание заставило его обернуться. Из-за угла появился человек. Тяжело ступая по глубокому снегу, он шел, согнувшись под тяжестью взваленного на спину мешка.

Асаил сразу узнал прохожего и хотел было свернуть в сторону. Прохожий, — это был Танхум, — тоже не прочь был избежать встречи. Но сворачивать некуда. Улица была слишком узка.

Танхум остановился, сбросил ношу в снег и, выдавив жалкое подобие улыбки, проговорил:

— Асаил, как я рад тебя видеть. Доброе утро, дорогой.

— Доброе утро, — буркнул Асаил.

Ни у него, ни у Танхума не было оснований радоваться

ся неожиданной встрече. Первый испытывал ко второму презрение, вторым владело чувство острого и жгучего стыда.

То, что в свое время произошло между ними, Асаилом и Танхумом, не было чем-то выдающимся, выходящим из ряда вон. То была самая тривиальная история, каких в ту пору,— а дело происходило в тридцать седьмом году,— случалось немало. Но явление оттого, что оно обыденно, не теряет своей сути и остроты. Предательство остается предательством, трусость трусостью, мерзость мерзостью, в каких бы масштабах они ни встречались.

Хмурым осенним утром Танхум, тогда секретарь райкома, пришел на работу. Не успел он войти в кабинет, как зазвонил телефон. Не тот, что соединяет с городом, а особый, прямой.

Танхум вздрогнул, он знал, от кого этот звонок.

И не ошибся. В трубке раздался повелительный басок Мамаева.

— Никуда не отлучайся. Я сейчас зайду.

— Хорошо, товарищ Мамаев.

Танхум повесил трубку на рычаг и сокрушенно покачал головой. Хотя в комнате никого не было, он все же пугливо огляделся по сторонам. «Наверно, опять когонибудь собирается посадить».

Вскоре в кабинет вошел Мамаев, невысокий, скуластый, с мрачным, подозрительным взглядом маленьких глаз. Как был, не снимая фуражки с голубой тульей и шинели с двумя шпалами на малиновых петлицах, он по-хозяйски опустился в кресло и швырнул Танхуму свежий номер газеты:

— Посмотри, что натворил твой Бинаев!

Танхум еще не знал, в чем согрешил Асаил, но догадывался, о чем могла идти речь, раз это связано с визитом Мамаева. Поэтому, даже не заглядывая в газету, он поспешно проговорил:

— Почему мой! Что он мне сват, брат? Он такой же мой, как и твой. Его не я, а бюро утверждало редактром. А бюро проводил Фомичев. Так что я персонально никакой ответственности за него не несу.

Танхум загода отрекся от Асаила, хотя именно ему был обязан всем, начиная со вступления в партию.

— Ты вот здесь посмотри,— Мамаев ткнул пальцем в газетный лист.

Танхум прочел подчеркнутое красным карандашом слово. В газету вкралась нелепая и по существу смехотворная опечатка.

— Политическая ошибка,— Танхум побелел.

— Вылазка! Вражеская вылазка!— Мамаев вперил в Танхума подозрительный взгляд своих маленьких глаз.

— Совершенно верно, товарищ Мамаев. Типичная вылазка врага. Что будем делать?

— Исключать. Созывай бюро. А потом...— он небрежно махнул рукой.

Танхума будто лихорадило. Он вспомнил то далекое прошлое, когда Асаил, бывший служитель синагоги, с восторгом встретил свержение самодержавия, сбрил бороду, бросил синагогу и, выступив на митинге, призвал народ идти за Лениным и большевиками. Он вспомнил Асаила, сражающегося в рядах красных партизан, Асаила, пламенного оратора на всех народных собраниях, Асаила, одного из организаторов первых колхозов.

— Так говоришь, исключить?

— А ты что, сомневаешься?— Мамаев повысил голос.— Это не случайная опечатка. Тут надо смотреть в корень. Кем был до революции Бинаев? Раввином. Он явный чужак. Враг народа, пробравшийся в партийные ряды. От него давно надо было очиститься, да вот Фомичев либеральничал. Зато теперь все, крышка. И запомни, дорогой товарищ, кто примиренчески относится к врагу, тот сам становится врагом. Таков железный закон классовой борьбы. А она, как тебе должно быть известно, по мере нашего движения вперед все сильнее обостряется.

В отличие от малограмотного Танхума Мамаев слыл образованным человеком и очень гордился этим.

После обеда Танхум созвал бюро. На нем присутствовал и Асаил. Докладывал Мамаев. Он же предложил исключить Бинаева из партии. Все было решено в течение нескольких минут.

Не успел Асаил выйти из райкома, как его тут же арестовали.

... Снова пошел снег. Крупные хлопья медленно опускались на землю. Две снежинки сели на бороду Танхума и не таяли. «Красиво,— подумал Асаил.— Точно морские звезды, запутавшиеся в водорослях».

— Куда ты собрался в такую рань? С такой тяжелой ношей?— спросил он, чтобы нарушить ставшее тягостным молчание.— Что там у тебя?

Он пнул носком сапога мешок. Внутри что-то зашуршало.

Танхум потупился.

— Чеснок. Не хочу от тебя скрывать, Асаил. В этом мешке чеснок. Еду в Сибирь, проводником вина. Так вот, решил прихватить мешок чесночку. Там он в цене. Приходится изворачиваться. У меня дети, семья... Только ты об этом ни слова. Видишь, я тебе все по-честному. Потому что не хочу от тебя ничего скрывать. А уж ты, ради бога, меня не продавай.

— А что ты стоишь? Тебе и раньше, в лучшие для тебя времена, цена была та же самая — грош.

Асаил легонько рукой отстранил Танхума с дороги и зашагал прочь.

— Ай, джан Асаил,— плаксиво закричал вдогонку Танхум.— Я, конечно, трус и подлец. Но сам посуди, время-то какое было...

Асаил не обернулся. Танхум безнадежно махнул рукой, надвинул на уши папаху и, кряхтя, поднял тяжелый мешок.

У дома Хануки он закурил трубку и тихонько постукался в окно.

— Наконец-то,— недовольно проворчал Ханука, отворяя ему дверь.— Ты, как девушка, заставляешь себя ждать. Где тебя черти носили?

— Ай, джан Ханука, ты же знаешь, я уже немолод. Думаешь, легко тащить такой мешок? Совсем из сил выбился, пока дошел.

— Так тебе и надо. Не жмотничай. Мог бы взять такси. Они теперь в Дербенте на каждому шагу. Так нет, скорее удавишься.

— Не говори так, обижусь.

— Ну, ладно, не будем ссориться на дорогу. Проходи, Бебе уже ждет.

Если бы не Бебе, не видать бы им этой поездки. Это он помог устроиться проводниками и раздобыть вагон.

— Голова на плечах есть, значит, будет и заработок,— продолжал Бебе прерванный приходом Танхума разговор.— Но если бог наказал тебя и вместо головы приставил кочан капусты...

Ханука вспыхнул:

— Знаешь, Бебе, моя покойная мать говорила: человека губит язык. Иногда не мешает чикнуть по нему ножичком. Чтобы стал покороче.

— Ты на что намекаешь?!— Бебе угрожающе поднялся. Танхум силой усадил его обратно на стул.

— Ну, будет вам. Кидаются друг на друга, как собака на кошку. Ты же знаешь, дорогой племянник, мы без тебя все равно, что без рук.

— То-то же... Словом, так: винные бочки, которые вы повезете, большие. Если из каждой выкачать по два-три ведра и вместо них подлить воду, никакой беды не случится. Только подбавьте немного спирту да подсыпьте табаку, для крепости. Свой товар реализуете по пути, на станциях. Охотники до дербентского вина всюду найдутся.

Предложение привело Хануку в восторг:

— Ай умница, ай голова, хоть и плешивая. У тебя, Бебе, не котелок, а целая академия наук...

Они выпили и отправились на товарную станцию, где уже формировался состав.

СЛУЧАЙ В ПУТИ

Вагон был большим и просторным. Одну его половину занимали бочки с вином, в другой расположились проводники. Они устроились, как дома: расстелили на полу пестрый горский палас, на паласе положили вдоль стенки, по-дагестански, матрацы с шерстяными одеялами и пуховыми подушками. На стенку повесили табасаранский ковер и овальное зеркало. В углу особняком стояли небольшие бочонки, ведра и железные мерки для продажи вина в разлив. У самой двери высилась чугунная печка. Подле нее аккуратной поленицей были сложены распиленные дрова. Рядом с ними лежал топор.

Ханука, взобравшись с ногами на матрац, неприязненно поглядывал на Танхума и в такт колесам мурлыкал под нос какую-то песенку. На нем был ватник и стеганые штаны. Танхум, по-кавказски поджав длинные ноги, сидел на полу, у раскаленной печки и не переставал дымить трубкой, набитой самосадом. Хотя в вагоне было тепло, он не снимал зимнего полупальто с меховым воротником. Танхум то и дело кашлял и смачно отхаркивался прямо на пол. От всего этого Хануку мутило. Наконец, он не вытерпел:

— Слушай, Танхум, это тебе не квартира, а вагон. У себя дома можешь даже мочиться на пол. Никто из

родных тебе слова не скажет. А здесь ты не один. Веди себя культурно. Как не стыдно, а еще был руководителем целого района.

Худое бледное лицо Танхума налилось кровью. Он не любил, когда вспоминали о днях его бывшего величия.

— Заткнись, бесхвостый шакал. Не тебе меня учить.

— Ва, он еще недоволен. Всю дорогу харкает, и я еще ему виноват. Видно, я действительно согрешил перед богом, как говорят наши старухи.

Ханука поднялся, подтянул сапоги, подошел к двери и приоткрыл ее. В проеме замелькали снежные шапки крестьянских изб, оголенный кустарник, одинокие деревья, столбы.

— Ай, Танхум, лучше иди сюда, подыши свежим российским воздухом. Здешнюю зиму не сравнить с нашей дербентской.

Товарный состав несколько часов назад покинул Ростов-на-Дону. Приближалась большая узловая станция.

— Слушай, Ханука, кончай базар, закрывай дверь. От этого проклятого холода можно заработать воспаление легких.

— Не воспаление легких, а чахотку. От твоего дыма и плевков.

Танхум вскочил. Он был разъярен.

— Ты перестанешь, наконец, действовать мне на нервы! Присосался, как пиявка, и сосет мою кровь.

Ханука рассмеялся, но дверь все же закрыл.

Он снова улегся. И опять запел. На сей раз во весь голос — песню ашуга из оперы «Кер оглы». Пел он плохо, дурным голосом и фальшиво. Пение его еще больше, чем разговоры, раздражало Танхума.

— Только этого мне не хватало.

Танхум зажал пальцами уши и прилег у печки. Убаюканный мерным покачиванием вагона, сморенный теплом, он незаметно для себя уснул.

А Ханука лежал на матраце и прикидывал будущие дивиденды. Впереди маячил солидный барыш. Ханука представил себе триумфальное возвращение в Дербент. Деньги, попойки, кутежи. Жизнь без трудов и забот. Мечтательная улыбка заиграла на его лице. Он вновь обрел благодушное расположение духа.

— Танхум,— окликнул он своего напарника.— Не обижайся. Вставай, срежемся в картишки.

Ответа не последовало. Танхум спал сном праведника.

Ханука встал и отодвинул дверь. День клонился к исходу. Смеркалось. На прозрачно-голубом небе прорезались первые звезды. На железнодорожных путях загорались огни.

Поезд, оглушительно громохая, вклинился меж составами, стоящими на многочисленных путях.

— Станция,— перекрывая стук колес, прокричал Ханука.— Ай, Танхум, вставай! Узловая станция.

Танхум проснулся, закурил.

— Ну, что?

— Надо узнать, сколько простоим? Может, успеем загнать немного вина.

— Иди узнай.

— Слушаюсь, товарищ начальник,— отдав честь, весело проговорил Ханука, натянул сапоги и прыгнул с резкого затормозившего поезда.

Танхум стоял в дверях и наблюдал жизнь большой станции. После целого дня, проведенного в полутемном вагоне и в обществе такого спутника, как Ханука, ему все показалось интересным. Вдали на перроне загорелись фонари дневного света, яркие и одновременно мертвенно-бледные. Таких Танхум еще не видел. На путях маняще мерцали разноцветные огни — зеленые, красные, сиреневые. Издалека доносились обрывки музыки, невнятный шум людских голосов, паровозные свистки, звяканье и лязг сцепленных вагонов, звонкое постукивание молотка о колеса.

— Ой, какой интересный дядечка!

Внизу меж путями стояла неизвестно откуда взявшаяся молодуха, статная, дородная, с крутыми бедрами. Из-под дымчатого пухового платка весело поглядывали глаза пронзительной синевы.

В Танхуме взыграло ретивое. Несмотря на годы, он не мог упустить такую добычу, тем более, что она сама шла в руки.

Танхум сладко улыбнулся и поманил пальцем молодуху.

— Что скажете, молодой человек?

Грубая лесь сработала безотказно. Танхум еще больше распалился. Присев на корточки, он проворковал:

— Знаешь что, красавица. Если наш поезд не уйдет, приходи через полчаса, — он многозначительно подмигнул. — Есть кое о чем поговорить. — Эту фразу из ста-

рого анекдота Танхум неизменно брал на вооружение в подобных случаях.

Молодوخа понимающе хохотнула.

— Придется зайти, если приглашаете,— она игриво стрельнула глазами, пригнулась и скрылась под вагонами так же неожиданно, как и появилась.

Некоторое время спустя прибежал запыхавшийся Ханука.

— Ай, Танхум, мы здесь простоим до утра. Я нашел покупателей. Давай сюда два бочонка. Поеду в город. Если задержусь, не волнуйся.

Танхуму только этого и надо было. Когда Ханука ушел, он, не теряя времени, стал деятельно готовиться к встрече. Подложил в печку дров, достал из чемодана консервы, открыл, поставил разогревать, засветил лампу, налил в трехлитровый баллон вина. Вино было не красное, не розовое, а цвета воска, как лицо Танхума.

— А я уже здесь,— донесся снизу приятный женский голосок.

— Ай ты, мое счастье, иди сюда, поднимайся в вагон.

— Вы один? Я боюсь мужчин.

— Зачем так говоришь, душа моя. Я не зверь, не тигр, не барс. Я человек. Всего-навсего слабый человек. Особенно, когда разговариваю с такими красавицами.

Он галантно протянул свою волосатую руку и помог женщине взобраться наверх.

— Как у вас уютно,—восхищенно проговорила гостья, оглядывая вагонное великолепие.

— А ты что думала. Мы люди культурные.

— Ай, боюсь. У вас тут топор.

— При чем тут топор? Разве в таких случаях в топоре дело? — Танхум игриво подмигнул.

Молодуха оценила остроту и, взвизгнув, захохотала.

— Ты лучше скажи, какое вино будешь пить? В нашем ресторане все сорта имеются: сухое, мускат, нарма, дагестанское полусладкое.

— Что вы, что вы! Я боюсь пить. Не то, чего доброго...

— Не бойся, роза майская, пока я с тобой, тебе плохо не будет.

Танхум принес вино, закуску.

— Ну, джан красавица, садись за стол, угощайся. Гляжу я на тебя и думаю — в мой темный вагон заскочила горная джейран. Я помолодел на сто лет.

— Да вы и так не старый. В самом соку,— она ласково усмехнулась.

— А вот ты сейчас узнаешь, какой я есть.

Танхум сгреб женщину в объятия, но она неожиданно сильной и твердой рукой отстранила его.

— Пустите. Так нехорошо.

Она встала, сняла пальто и платок, аккуратно сложила их на табуретке, поправила перед зеркалом прическу. Волосы у нее были на диво красивы. Скрепленные на затылке высоким пучком, они золотистыми волнами обрамляли миловидное лицо.

Танхум залился довольным смехом.

— Ты не женщина, ты мед. Сладкий-пресладкий. Разве будет плохо, если я поцелую твои сладкие губы?

Молодوخа застенчиво закрыла лицо руками. Но села не на табуретку, а на матрац.

Танхум плюхнулся рядом и тут же придвинулся вплотную. На этот раз она не отстранилась, а, напротив, прижалась мягким, теплым бедром.

— Ай, молодец, джейран. Выпей сладкого вина. Оно вкусное. Как ты.

— Сначала выпейте сами.

— Я уже пил, теперь хочу тебя угощать.

— Я не видела, как вы пили. Пейте со мной.

Они чокнулись, выпили. Потом еще стакан. Потом еще, еще и еще...

Наконец, Танхум решил, что пора приступать к главной части программы. Он поднялся и направился к двери. Мягкие, как вата, ноги плохо слушались его.

— Ой, что вы делаете? Зачем закрываете дверь?

— Не бойся, я оставляю щелочку.

Тяжелая дверь не поддавалась. Танхум чертыхнулся.

— Наплевать... хрен с ней, с дверью,— неожиданно проговорила женщина, язык ее заплетался.— Иди к мне...

Под утро вернулся Ханука, веселый, хмельной.

— Эй, Танхум! Открывай! — прокричал он снизу.

Открывать было нечего. Дверь зияла пустым проемом. Ханука выругался: «Дрыхнет с раскрытой дверью, ишак»,— и полез в вагон.

Очутившись внутри, Ханука остолбенел. В луже крови ничком лежал Танхум с раскроенным черепом. Рядом валялся топор, словно ржавчиной, испятнанный запекшейся кровью. Исчез ковер. Исчезли бочонки.

Ханука бросился к мертвецу. Карманы его были пусты. От десяти тысяч рублей не осталось и копейки.

И тут Ханука не выдержал. Закричал. Так громко и страшно, что к вагону стал сбегаться народ.

ССОРА

Бебе проснулся часов в девять утра в отменном расположении духа, какое бывает у человека, когда он хорошо выпится. По обыкновению он выпил натошак стопку водки, закусил голубцами, оставшимися от ужина, затынул папиросой и уже было собрался выйти из дому, как в дверь постучали:

— Примите телеграмму.

Бебе поморщился. «Неужто от дяди? Вроде рановато возвращаться ему домой. Только недавно выехал... Наверно, денег просит». Он вздохнул, распечатал телеграмму, лениво и нехотя пробежал ее и, как подкошенный, свалился на диван.

— Мама... Мама... Горе, ужасное горе... Дядя убит,— чуть слышно прохрипел он. Но с кухни в комнату уже вбежала Сенем.

— Что ты говоришь! Да чтоб твоя мать все свои волосы вырвала, чтоб твой отец в своей могиле сгорел...

— Вот здесь все написано. Убит дядя. Ханука отступал телеграмму.

Старуха взвыла не своим голосом, бросилась на пол, стала рвать волосы, царапать лицо.

— Ай-вай, дорогой брат мой,— голосила она.— Откуда Азраил прилетел по твою голову! На кого ты покинул бедных сироток! Зачем мне теперь жить! Лучше бы мою душу забрал беспощадный Азраил! Ва-а-ай!..

Сенем колотила себя ладонями по коленям, била кулаками по голове, потрясала руками над головой, слала проклятия тем, кто сгубил ее брата.

Бебе тем временем, оправившись от первого удара, размышлял. «Какая-то загадочная история. Почему вдруг убит дядя, а Ханука остался в живых? Ведь они ехали вместе, в одном вагоне. Почему именно убит дядя, а не Ханука?»

На вопли старухи прибежали соседи. Дом содрогался от женского плача и причитаний. Мужчины же вполголо-са выражали всякие догадки и предположения. Одни

считали, что Танхума убил Ханука, не поделив с ним барышей, другие предполагали, что Танхум поссорился с покупателями и сложил голову в пьяной драке, третьи говорили о бандитах, напавших ночью на вагон с вином.

Бебе во всех этих разговорах не участвовал. Он весь был поглощен большой и напряженной внутренней работой. Он искал решение и наконец принял его.

— Мама,— перекрывая стенания женщин, позвал он Сенем.— Я все узнаю и все выясню. Никто не уйдет от расплаты. Сегодня же выведу туда самолетом.

В тот же день Бебе прибыл на место происшествия.

— Какое несчастье! Какое горе! Кто бы мог подумывать, ай, Бебе...

На Хануке не было лица.

— Мы еще с тобой поговорим, бандит. Это тебе даром не пройдет.

Ханука опешил. Такого он никак не ожидал.

— Что ты говоришь, ты только подумай, что ты говоришь, Бебе. Ты выслушай меня, ты расспроси в милиции. Пусть все мои предки будут прокляты, если я в чем-либо виноват.

Бебе локтем оттолкнул путавшегося под ногами Хануку, нанял грузовик, погрузил в него труп и поехал в Дербент.

Похороны проходили согласно правилам адата. Мертвеца положили на пол. В углу комнаты зажгли лампу. Соседки и родственники заполнили тесное, душное помещение. Женщины сидели на полу, в голос плакали и колотили себя по коленям и голове. Либо, жена и сестра покойного всерьез, до кровоподтеков, остальные больше для вида и приличия, чтобы выказать свое сострадание.

В комнате уже не было места, а люди все шли и шли. В сенях раздавались приглушенные голоса.

— Ты уже показала на глаза вдове?

— Тебя видела Сенем?

Пока в тесной и душной комнате, прижавшись друг к дружке, покрытые темными платками женщины хором оплакивали покойника, во дворе собрались мужчины. Они не оплакивали покойника, а вполголоса беседовали о случившемся.

Вдруг все смолкли. Прихрамывая, окруженный свитой старцев, во дворе появился раби Хаим. Он молча отвесил поклон джамаату.

— Садись, раби Хаим, прошу тебя,— пожилой мужчи-

на с пунцовой бородавкой на носу встал и уступил равнину свое место на скамье.

Раби Хаим, ничего не сказав и даже не кивнув в ответ, сел.

Мимо прошли двое бородачей в каракулевых папах. За ними проследовали двое молодых парней с большим обитым цинком деревянным корытом в руках.

Раздались голоса:

— Сейчас начнут обмывать.

— Теперь уж осталось недолго. Скоро вынесут.

Корыто внесли в дом.

— Женщины, освободите комнату.

Кричащая толпа женщин удалилась. Двое бородачей позвали старшего сына Танхума, раздели покойника, уложили в корыто. Зачерпнув из бака теплой воды, один из мужчин сказал сыну Танхума:

— Держи черпак, полей отца. Так требует адат.

Сын Танхума безмолвно исполнил приказание.

Покойника обмыли, зашили в саван и уложили на особые носилки — мид.

— За переднюю ручку мида должен ухватиться сын, — приказал раби Хаим.

Стали выносить. Женщины заголосили истощнее прежнего. Сенем иступленнее прежнего рвала на себе волосы.

— Женщины останутся дома, — распорядился раби Хаим. — На кладбище пойдут только мужчины.

Процессия двинулась со двора. Впереди, опираясь на палку и прихрамывая, степенно шагал раби Хаим, в новой каракулевой папаше и в пальто с меховым воротником.

На кладбище он произнес речь над свежей могилой Танхума. Вспомнил его отца, деда и прадеда, расхвалил весь его род, а самого назвал скромнейшим, верным богоу и семье членом общины.

— Заверяю вас, мои дорогие единоверцы, — закончил раби Хаим. — Покойнику уготовлено место в раю. Он будет вдыхать аромат цветов, питаться райскими плодами, наслаждаться всеми благами рая. Аминь, аминь, аминь!

Прочли молитву. Старейшины общины приступили к сбору пожертвований.

— Кто сколько может, верующие, — басил старик Шафадие.

Люди полезли в карманы.

— Ну и жулье,— проворчали за спиной раби Хаима.— И тут обирают людей. Грабят среди бела дня.

Раби Хаим обернулся, стрельнул косым глазом в толпу.

— Кто там богохульствует!

Никто не отозвался. Все спешили в город, где в доме покойного широко расставленные столы ломились от вина и закусок.

Начались поминки. Они длились семь дней и семь ночей. Целую неделю родня, близкие, друзья и знакомые не покидали дом Танхума. Три раза в день в присутствии десяти мужчин раввин читал молитву за упокой души усопшего. На восьмой день зарезали корову и пиршество вспыхнуло с новой силой, теперь уже не только обильное и хмельное, но и веселое. Словно здесь не проводили человека в могилу, а удачно женили.

То, что Ханука узнал, вернувшись в Дербент, привело его в ужас. И немудрено: по городу полз чудовищный слух, что он убийца Танхума. Все, что Ханука делал в жизни, не было образцом добродетели, он прекрасно это сознавал. Но лишить жизни человека — такое ему и в дурном сне не приходило в голову. Даже если этот человек был таким ничтожным и жалким созданием, как Танхум.

Хануке было известно, что первоначальный источник и главный распространитель слухов Бебе. Поэтому, даже не отдохнув с дороги, чуть ли не прямо с вокзала он бросился разыскивать его. Это оказалось далеко не простым делом. На работе Бебе не было, идти же домой к нему Ханука не решился.

Оставалось одно: положиться на случай и провиденье. Тем более, что Дербент не Москва, в нем не так уж трудно повстречать на улице нужного человека.

Весь день он, голодный и злой, неприкаянно бродил по городу, кляня и свою несчастную долю, и покойного Танхума, и его неуловимого племянника.

И вдруг уже поздно вечером на одной из далеких окраинных улиц чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Бебе. Тот едва держался на ногах. Он возвращался от вдовы Аснат и был сильно пьян.

— Ай, Бебе, наконец-то я нашел тебя,— Ханука не на шутку обрадовался.— Весь день искал, чтобы поговорить

Бебе разом протрезвел. Не останавливаясь, он прибавил шаг, на ходу зло бросил:

— Убирайся ко всем чертям, падло!

Ханука догнал его, схватил за руку, но Бебе вырвался и с такой силой оттолкнул Хануку, что тот отлетел в сторону и стукнулся затылком о стену дома.

— Уйди с глаз моих, сволочь! Чтоб духу твоего поганого не было!

С трудом оправившись от удара, Ханука потрогал затылок. Ладонь стала мокрой и липкой.

Отерев кровь о брюки, Ханука заспешил за удаляющимся Бебе.

— Ты что, соображаешь, что делаешь,— жалобно и удивленно проговорил он.— Я же хочу тебе объяснить... Пстой, Бебе...

Он догнал его и ухватил сзади за плечи. Бебе обернулся, отпрянул и что есть силы ударил Хануку в подбородок. Ханука охнул и упал на мостовую.

Бебе огляделся. На темной улице — ни души. Тихо. Лишь вдали лениво брешет собака.

Бебе приблизился к лежащему на боку Хануке и ударил его носком сапога в живот. Раз, другой, третий. Неторопливо, без злобной запальчивости, методично и деловито.

Ханука скорчился и заикал, Бебе пошел прочь.

— Ах ты гад... Ах ты гад ползучий... С ним, как с человеком, а он...

Ханука выворотил из мостовой булыжник и швырнул вдогонку Бебе. Он не метился, но попал точно в цель. Удар пришелся по затылку. Бебе рухнул наземь.

Тогда Ханука поднялся и, пошатываясь на нетвердых ногах, направился к нему, «Теперь,— думал он,— мы квиты. Теперь самая пора объясниться спокойно и, наконец, достичь примирения».

Он подошел к дружку, склонился над ним, чтобы подать руку и помочь встать, и вдруг невероятной силы боль пронзила все его тело. Словно молния, неожиданно обрушившись не с неба, а с земли, ударила в него. Ханука, даже не успев вскрикнуть, свалился на Бебе. А тот, выпроставшись из-под отяжелевшего тела Хануки, встал на ноги, вытер финку, которой только что пырнул врага в живот, и бросился наутек.

Лишь под утро случайный прохожий обнаружил истекшего кровью Хануку. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу.

В ту ночь дежурила Вера. Она срочно вызвала хирур-

га. Заспанный, хмурый, с тяжелым и неподвижным лицом, он лишь мельком взглянул на раненого и тут же приказал:

— Готовить операцию.

— Будем делать переливание крови?

— Непременно и экстренно.

Проверили кровь. Первая группа с отрицательным резусом.

— Придется вызывать донора,— сказала Вера.— Такой крови у нас в запасе не осталось.

— Нет времени ждать. До прихода донора ему не дотянуть. Слишком много потерял крови.

Что делать? Хирург знал, что у Веры требуемая группа крови. И Вера это знала. У него у самого кровь была такой же. И Вера это тоже знала. Они взглянули друг на друга и мгновенно, без слов поняли один другого.

— Я дам ему свою кровь,— сказал врач.

— Нет,— сказала Вера,— это сделаю я,— она не могла допустить, чтобы пожилой человек, годившийся ей в отцы, пошел на жертву, а она, молодая, цветущая женщина, спокойно приняла ее.

— Хорошо, сестра,— просто проговорил хирург, снял очки и протер их.— Приступайте.

Вера вернулась домой лишь днем, смертельно усталая, бледная. От еды, предложенной Сурией-ханум, отказалась. И чай тоже не стала пить.

— Единственное, что я сейчас хочу, мама,— это спать.

Она быстро разделась и, как легла в кровать, так сразу же и заснула.

ПРОЩЕНИЕ

Дни мчались курьерскими поездами, проскакивая разъезды и полустанки и лишь накоротке задерживаясь на крупных станциях,— Весне, Зиме, Лете. Время, как известно, лучший целитель, а если ему приходят на помощь и профессиональные врачи, человек, как бы тяжело ему ни было, встает на ноги.

Поднялся наконец и Ханука. Месяцы, проведенные в больнице, не прошли для него даром. Долгими днями и ночами, прикованный к койке, он о многом передумал, многое понял и многое переоценил. Счастье нередко слепит человека. В горе он чаще всего прозревает. Слу-

чившаяся беда принесла прозрение Хануке. Он прибыл в больницу одним человеком, выбыл из нее другим.

Перед выпиской Ханука раздобыл ученическую тетрадку в крупную линейку и вечером после отбоя, когда все больные уже спали, тайком забравшись в процедурную, засел за письмо. Писал долго, с трудом и мучительно: и потому что руки, не привычные к карандашу, плохо слушались, и главное, потому что мысли никак не хотели укладываться на бумагу. Настолько непривычны и новы были они.

Наконец, письмо было готово. Адресовалось оно Ахмеду.

«Дорогой товарищ Ахмедов,— писал Ханука.— Что мне делать, чтобы искупить свою вину? Мне кажется, я не стою даже пылинок, которые отлетают от подошв твоих башмаков. Когда я вспоминаю свои поступки, я со стыда прячу голову под одеяло и плачу горькими слезами, как последний мальчишка. Больше всего меня тревожит мысль: как после выздоровления взгляну тебе в лицо? Тебе, а также другу твоему — Рахману. Сколько неприятностей доставил я вам! И подумать страшно. После всего, что я сделал, ты имеешь полное право изничтожить меня, стереть в порошок. Но я прошу только об одном — помоги мне возвратиться в бригаду Рахмана, искупить свою вину. Ведь я сын своего отца. Он до старости лет трудится в поте лица, не щадя сил и здоровья. И я буду точно так же трудиться. И увидишь, я стану таким же честным и порядочным человеком, как он... И еще я хочу тысячу раз поблагодарить тебя и твою замечательную подругу жизни Веру. Она спасла меня. Если бы не она, лежать бы мне под сырым и холодным одеялом.

Позвольте мне, мои дорогие, считать тебя своим братом, а Веру родной и кровной сестрой. Я готов всю жизнь целовать землю, по которой ступали твои ноги и ноги моей дорогой сестры Веры.

Ахмед, дорогой, прости, что я так пишу. Иначе я не могу. Лучше никак не получается. Да и нужно ли лучше? Ведь дело не в словах, а в том, что они выражают.

Если в тебе есть хоть капля обиды на Веру, умоляю тебя, прости ее. Она человек большой души и чистого сердца. Ее поступок достоин славы.

Еще раз прости меня, дорогой Ахмед.

Х а н у к а ».

Пока Ахмед читал это письмо, Вера стояла у дверей. Исподлобья взглянув на мужа, она встревожилась:

— Что-нибудь случилось? Неприятное?

— Нет. На вот, прочитай.

Совершая свой поступок, Вера не думала о возможных последствиях. Меж тем они не замедлили сказаться. Бест о том, что она отдала кровь Хануке, быстро распространилась среди дербентцев. Начались всяческие пересуды. Злые языки утверждали, что сделано это неслучайно, что просто так, за здорово живешь женщина не пожертвует собой ради мужчины. Ахмед, совсем недавно выступавший как враг Хануки, неожиданно и всем на удивление стал его кровным родственником. Парторг в роли кровного кунака проходимца и жулика — это вызвало смешки и ехидные перешептывания.

Вера на все это не обращала внимания. Она знала, что сделала то, что должна была сделать, поступила так, как должен был поступить на ее месте любой порядочный человек.

Иначе думал Ахмед. Кривотолки и сплетни не только раздражали, но и огорчали и удручали его. Дошло до того, что он стал сторониться людей. Ему чудилась в их глазах скрытая насмешка.

Дома он тоже был хмур и неразговорчив. Веру избегал, даже детей, и тех как бы не замечал.

Веру поведение мужа и расстроило и возмутило. Но она не показывала виду, ожидая, когда он наконец сам обо всем заговорит. Ахмед же молчал, упорно и недоброжелательно. Возникший между ними холодок все возрастал, постепенно переходя в отчужденность. Пока вдруг не пришло это письмо.

Увидев, что жена кончила читать, Ахмед подошел к Вере, обнял ее и тихо проговорил:

— Прости меня... Проклятые пережитки... Прости меня, Вера...

ДОЖДИ

Старый Эсеф, держась рукой за правый бок и покрхтывая, вышел из дома на веранду. Над городом вставала заря. Юная и ясная, она заливала нежно-розовым светом крыши домов.

Старик вздохнул и присел на скамью. За последнее

время он очень изменился. В несколько месяцев постарел на целое десятилетие. Из-под седых кустистых бровей печально поглядывали потухшие глаза, спина выгнулась серпом, будто на ней вырос горб. История с Ханукой не прошла для него бесследно. Лишь после возвращения сына из больницы он стал понемногу приходить в себя.

На веранду вышел Ханука. Бледный, исхудалый, с размягченным и грустно умиленным лицом, он ничуть не походил на прежнего, нахально разбитного.

— Зачем ты так рано встал, отец? Не надо. Ступай отдыхай. Я поработаю за двоих.

— Нет, сынок. Мне не усидеть без дела. Недаром твоя бабушка родила меня на работе, копаясь в огороде. Вся моя жизнь прошла в труде. Без него мне гибель. Если хочешь моей смерти, заставь меня остаться дома.

— Что ты, отец?

— Тогда собирайся. А не то машины без нас уйдут. На колхозном дворе их встретили Азиз и Рахман.

— Давайте быстрее залезайте в машину!

Ханука подошел вплотную к Рахману, спросил:

— Ты простил меня?

— Да будет тебе, залезай в кузов. Думаешь, мне больше не о чем думать?

Ханука просительно улыбнулся:

— Забудь прошлое. Слышишь?

— Ладно, как говорится, кто старое помянет...

На винограднике стройными рядами стояли поднятые на шпалеры кусты. На каждом висело по несколько десятков гроздьев. Виноградники были еще зелеными, маленькими. Их предстояло выходить, уберечь от болезней, отстоять от своеволий природы.

Бригада приступила к делу. Так как в колхозе еще не доставало тракторных опрыскивателей, работа частично шла вручную. Азиз, Эсеф и другие колхозники, неся за плечами опрыскиватели, пускали струю зеленой жидкости на кусты винограда. Рядом, в других клетках, тракторист Мухтаров проводил культивацию, а несколько мужчин, женщин и юношей делали прополку вокруг кустов.

Не прошло и получаса, как солнце уже ушло за облака, а еще немного погодя небо заволокли тучи.

— Вот, так оно всегда,— заметил Эсеф.— Если на заре ясно, потом погода обязательно испортится. Будь она неладна.

— Думаешь, пойдет дождь?— с тревогой в голосе спросил Азиз.

— Может быть. Вполне может быть.

И действительно, вскоре заморосил дождь, частый и обложной. Ничего другого не оставалось, как сесть в машины и отправиться в город.

— Печально,— проговорил Эсеф, когда они сошли с машины и поднялись на веранду колхозной конторы.— Теперь от него не скоро избавишься. Теперь он надолго зарядил.

— Да, плохо дело,— задумчиво согласился Азиз.

— Еще бы, хуже не придумаешь.

Эсеф, как и Азиз, хорошо знал, что дождь совсем не нужен тогда, когда на кустах уже повисли ягоды. Необходимую влагу даст винограду оросительная сеть. Есть сроки полива, агрономы знают их. Дождь же, идущий не ко времени, лишь вредит винограду.

— Я человек старый,— говорил Эсеф молодым колхозникам, собравшимся вокруг него,— и на опыте изучил всю эту агротехнику. Запомните: если на кусте уже висят гроздья и вдруг полил дождь, надо тут же опрыскивать. Иначе заболит виноград, пропадет. И потом от дождя идут в рост сорняки. А они тоже источники болезней. Значит, надо, не теряя времени, полоть, очищать кусты от сорняков. И еще запомните: после каждого дождя надо опрыскивать. А то нет гарантии от болезней.

— Все это мы и в книжках читали,— зевнув, проговорил черный, как смоль, курчавый паренек.

— А книжки кто написал? Не такой же человек, как я? Правда, я не обучен грамоте, зато сама жизнь меня научила.

— Правду говорит старик... Все правильно, до точки,— раздалась одобрительные голоса.

— А кто с ним спорит?— оправдывался смуглый паренек.— Я только говорю, что читал в книжке: после каждого дождя надо опрыскивать виноградники.

Старик Эсеф оказался прав в своем предсказании погоды. Дожди, действительно, зарядили надолго. Работы на виноградниках приостановились.

В комнате партийного бюро совещался актив, советовался о том, как спасти урожай, не допустить его гибели. Здесь были бригадиры Рахман и Рамазан, агроном Арутюнов, секретарь партийного бюро Ахмедов, звеньевые, опытные виноградари — старики. Не было только самого

председателя — Мукаила. Он готовился к свадьбе дочери и с разрешения правления колхоза выехал в Москву за приданым. Когда вместо председателя выступил замещающий его Арутюнов, кто-то недовольно пробурчал:

— Не нашел лучшего времени ехать за приданым. В самый разгар работ.

Агроном меж тем заявил:

— Я одного боюсь — перестанет дождь, а для опрыскивания у нас не хватит инвентаря. Мало у нас опрыскивателей.

Маленький, щуплый Рамазан смерил долгим взглядом высокую, грузную фигуру Арутюнова и недовольно спросил:

— Где же вы до сих пор были, товарищ агроном? А то, когда на охоту ехать, так и собак кормить, да? — и неожиданно озлившись, вскричал: — Пора кончать этот шалтай-балтай, товарищ дорогой, делом надо заниматься.

Арутюнов опешил. Его пышные черные усы беспокойно зашевелились. Ероша свою седую шевелюру, он недоуменно произнес:

— Да ты что? Соображаешь, что говоришь? Я-то тут при чем? Что, я председатель, что ли?

— А кто? Пятое колесо в телеге? — разозлился Рамазан. — Сколько трудодней получаешь?

Рамазана поддержал Ахмед:

— Да, разве ты маленький человек в колхозе, товарищ Арутюнов? Ведь ты правая рука председателя.

Рахман, молчавший до этого, поднял руку, попросил слова.

— Сейчас не время для перепалки, — сказал он. — Бесплодный спор пользы не принесет. Надо искать выход. Дождь вечно не будет идти. Он перестанет, а нам опрыскивать надо плантации. Нельзя терять время.

— Давайте сегодня же пошлем людей в Махачкалу и Баку, — предложил Ахмед. — Не может быть, чтобы там не нашлось опрыскивателей.

Рамазан ухмыльнулся.

— Пока ваши люди приедут в Баку, мильдью съест виноград...

— Надо использовать все возможности, — твердо проговорил Ахмед. — Попытаемся и на месте кое-что сыскать. А вам, товарищ Арутюнов, я не советую играть роль женевского наблюдателя.

На том и порешили. К вечеру члены правления выехали, один — в Баку, другой — в Махачкалу.

В ту ночь Азизу спалось плохо. Старик беспокойно ворочался в постели, то и дело просыпался, вслушиваясь в струи дождя, безумолчно барабанившего по крыше. Он часто вставал, смотрел в окно, выходил на веранду.

— Ай, старик, что это тебе не спится? — недовольно окликнула его Баджи.

— Молчи, ай джан Баджи, разве я могу спать? Ты что сама не спишь? Льет как из ведра. Мне кажется, будто вода уже просочилась за ворот моей рубахи. Ах, сердце сжимается, болит.

— Все от бога, — вздохнула старуха. — Против его воли не пойдешь.

— А ну тебя с твоим богом! — досадливо отмахнулся от жены Азиз.

— Вай-вай-вай, что слышат мои глухие уши! Да чтоб ты лишился своей сестры за такие слова!

— Чтоб с моей сестрой провалилась и ты! — парировал Азиз.

Баджи привстала на постели.

— Я слышала, некоторые люди на старости лет теряют рассудок. Ты, наверно, из таких.

— Ай, Баджи, закрой свой граммофон. Мне сейчас не до музыки.

Он оделся, вышел во двор. Вставал мутноватый, дождливый рассвет. В саду тускло поблескивали лужи. Азиз с горечью смотрел на мокрые гроздья винограда, на усыпанные крупными каплями ветви яблонь и груш, устало сникших книзу. «Пропадет урожай, погибнет виноград, весь наш труд погибнет», — подумал старик.

Ближе к завтраку подул ветер и расшвырял по небу тучи. Дождь перестал.

— Ай, Рахман, вставай, вставай скорей, дождь прошел, — обрадовался Азиз.

— Ну и что! — отозвался сонный Рахман.

— Ва! — удивился старик. — Разве ты не рад этому? Рахман встал, оделся, вышел из спальни.

— Рад я, отец. Конечно, рад. Но сегодня мы не сможем работать. Видишь, какие лужи всюду стоят. На виноградниках такая грязь, что ни один трактор не пройдет.

На участке бригады Рахмана виноградники были рядовыми и опрыскивание проводилось трактором. Потому Рахман и не торопился.

— Ай, сынок, медлить нельзя. Надо сегодня же начать опрыскивание, если не хочешь заразить виноград мильдью.

— Что же ты предлагаешь?

— Собрать бригаду и опрыскивать вручную.

— А где взять опрыскиватели? Ты же слышал, их нет в запасе. Люди уже поехали за ними в Баку и Махачкалу.

— Нельзя ждать, ты понимаешь, нельзя,— твердил свое старик.— Соберем, сколько есть. Вот и у нас дома есть свой старенький. Я знаю, они есть и у Эсефа, и у Мардахая, и у Зарбаила. Найдутся старые и на колхозном складе. Надо собрать все, какие можно, и поскорей начать работу.

Рахман подумал и наконец согласился:

— Хорошо, отец. Пока земля не подсохла, попробуем опрыскивать вручную. Но пойдут ли на это люди?

— А как же, обязательно пойдут, если только они совесть не потеряли.

Над морем поднимался багровый диск солнца.

— Слава богу, погода совсем прояснилась,— Азиз довольно заулыбался.

— Доброе утро, Азиз! — во двор, прихрамывая, вошел Эсеф.

— Доброе утро, старина! Какие новости?

— Ва, разве сам не видишь? — Эсеф кивнул на солнце.— В такую погоду разве удержишь дома? Думаю, схожу-ка к Рахману, посоветую начать опрыскивание. Пока трактора не пойдут, сами пойдем. Возьмем каждый по опрыскивателю и сделаем свое дело.

Азиз радостно засмеялся:

— Мы с тобой одинаково думаем. Мы с тобой вместе и умрем, брат.

— Придет время—умрем, а пока давай работать. Рахман, ты согласен с нашим предложением?

— Согласен, дядя Эсеф.

— Тогда я пойду за своим старым опрыскивателем,— сказал старик.

— Бери, бери. И приходи прямо на колхозный двор

Весть об инициативе бригады Рахмана быстро донеслась до Ахмеда и Арутюнова. Они обрадовались. Вызвали шоферов, заправили машины, отвезли людей на плантации.

— Надо поднять и другие бригады,— предложил Ахмед.

— Поднять-то можно. Да где взять опрыскиватели? Ахмед рассердился.

— Видите, как у нас получается, товарищ Арутюнов. На охоту едем — собак кормим. Если бы забанее подумали... Вот что значит беспечность. Ничего не знаю, вы агроном, вы замещаете председателя, вы и побеспокойтесь! Найдите, где хотите!

Большой спор разгорелся между парторгом и агрономом. В него включились и подошедшие бригады. Одни ругали председателя, другие агронома, третьи упрекали парторга за плохой контроль. Наконец договорились собрать все, какие есть, ручные опрыскиватели и начать работу.

К счастью, погода больше не портилась. Солнце основательно прогрело землю, и песчаная почва подсохла. На рядовых виноградниках начали работать тракторы, ручные же опрыскиватели были переброшены на старые бессистемные виноградники.

Часть людей приступила к прополке, часть работала на опрыскивании. Но так продолжалось недолго. Дня через два небо вновь заволокли тучи, стало темно, пасмурно, опять пошел дождь.

— Что за напасть! — расстроился Ахмед. Он стоял в саду под проливным дождем и весь промок. Рядом с ним был Арутюнов, хмурый и взволнованный.

— Пошли прахом все наши труды, — в сердцах произнес он. — Теперь начинай все сначала. Непроизводительная трата сил и средств.

Ахмед ничего не ответил. Он был недоволен агрономом. «О легкой жизни мечтает. Ему чтобы все само собой в руки шло». Постояли еще немного, подождали. Дождь не переставал. Тогда дали команду садиться в машины и отправляться по домам.

Утро опять было ясное, безоблачное. Но люди уже не верили, что хорошая погода продержится весь день.

— Подождем, пока окончательно установится погода, — говорили они.

Но Рахман не соглашался.

— Как выходили на работу, так будем и дальше выходить.

Рахмана поддержал Ахмед. Они собрали свои бригады и отправились на плантации.

Много раз за месяц шли дожди. И после каждого передовые бригады, не теряя времени, опрыскивали кусты.

— Ты только обрати на него внимание,— как-то во время работы указал на Хануку Рахман.— Совсем другим стал.

— Еще бы! Словно его подменили. Это очень хорошо,— ответил Ахмед и рассказал о письме, присланном из больницы.

— Наконец-то образумился. Мне так больше всего жаль было старика Эсефа. Теперь жизнь в их семье пойдет нормально.

Шли дни. В труде и борьбе со своенравной природой проходило лето. Возвратился из Москвы Мукаил. Погода к тому времени уже установилась. Ясная, сухая. Под живительными лучами солнца виноградные ягоды набирали сок, росли, созревали.

Мукаил, объезжая участки, тщательно осматривал каждый куст. Ему сразу же бросилось в глаза, что на участках Рахмана и Ахмеда гроздь большие, ягоды крупные, здоровые. А на участках других бригад гроздь редкие, ягоды мелкие, поврежденные мильдью.

— В чем дело? — недовольно спросил он агронома.

— Разве не видите? Мильдью.

— Что, у нас не хватало ядохимикатов?

Агроном усмехнулся:

— Дожди шли непрерывно. Тракторы не могли работать. А ручных опрыскивателей как кот наплакал. Пока поехали в Баку и Махачкалу, пока привезли опрыскиватели, мильдью уже свое дело сделала.

— А почему сумели побороть мильдью Рахман и Ахмед?

— На то они и передовые бригады. Инициативные. А Рамазан, тот только мастер критиковать да требовать. У самого же никакой инициативы.

Мукаил вздохнул, закурил:

— Значит, по-твоему, во всем виноваты только бригады да звеньевые. А ты, агроном, что же, только общее художественное руководство призван осуществлять? Мы с тобой, стало быть, товарищ Арутюнов, должны лишь руководить и руками разводить.

Агроном ничего не ответил, только пожал плечами.

Мукаил швырнул наземь окурок.

— Давай, поехали!

ПОКА СТУЧИТ СЕРДЦЕ

Асаил, желтый, как воск, исхудалый и неподвижный, лежал в спальне на мягкой, покрытой белоснежной простыней перине. Около кровати, у изголовья и ног больного сидели на стульях родственники, соседи, друзья. Азиз и Рахман вошли в комнату.

Азиз кашлянул, проглотил комок, подкативший к горлу, и по возможности бодро спросил:

— Как себя чувствуешь, старина? По всему видать, лучше?

Больной ничего не ответил. Он лишь приоткрыл глаза и посмотрел на пришедших. Потом, собравшись с силами, тихим, словно чужим голосом, проговорил:

— Подойди поближе, Азиз. Я и тебя, и сына твоего люблю не меньше своих братьев и детей...— Ему трудно было говорить. Он вновь устало закрыл глаза, помолчал и еще тише прежнего прибавил:— Простите меня. Много говорить не могу, тяжело мне.

— А ты не говори,— посоветовал Азиз.

— Да... Хотя бы немного поправиться. А то нет сил, мучаюсь.

Азиз попытался подбодрить больного:

— Даст бог, поправишься. Отлежись, отоспись, отьешься — и поправишься.

Азиз старался подбодрить больного, хотя знал от Хумор, что положение его безнадежное.

— Нет, ты меня не утешай. Мне уже не поправиться. Я скоро умру,— неожиданно твердо и абсолютно спокойно произнес Асаил.

— Не дай бог!

Больной горько усмехнулся:

— Причем тут бог! Все мы смертны. Если б не умер мой отец, не умерла бы моя мать, и я бы не умер. От смерти никому не уйти...

В комнате воцарилась тишина, тягостная и неловкая. Все безмолвно смотрели на Асаила. Каждый хотел сказать что-то утешительное и не находил слов.

За окном буйно пламенел багровый закат. Будто кто-то разжег огромный костер.

Молчание нарушил Асаил. Чуть приподняв голову с подушки, он проговорил, обращаясь к Рахману:

— Баркалла, сынок, я слышал, ты сумел спасти виноград от болезни. Молодец. Вот так должны работать все.

Рахман смутился:

— Баркалла надо сказать всем членам бригады. Я тут не при чем. Урожай спасли лелей Эсеф, Ханука, Исмаил...

— Хорошими работниками тоже надо руководить...

Чем дольше Асаил говорил, тем крепче становился его голос и тем лучше делалось его самочувствие. Улучшилось настроение и всех присутствующих. В разговор вступили братья больного, родственники, друзья. Когда поздно ночью Азиз и Рахман покидали Асаила, он уже говорил свободно, и Азизу показалось, что друг его поправляется. Вскоре Асаил попрощался с посетителями и спокойно уснул.

Проснулся он рано утром, прибодренный, повеселевший.

— Папа,— обратилась к отцу Сара.— Мы выйдем на улицу. Немного подышим воздухом. Хорошо?

— Идите, дочки, идите. Вы мне не нужны.

Дети вышли на улицу. Уселись под окном, в тени ветвистого чинара. Здесь были три дочери, невестка— вдова покойного сына, внуки и внучки. Старик плохо слышал, о чем говорили дочери. Он сейчас слышал только стук своего сердца. Чем дальше, тем сильнее стучало оно и тем труднее становилось ему дышать.

— Дочка, Сара, иди сюда, милая.

Сара сорвалась с места и влетела в комнату.

— Что с тобой, папа? Тебе опять плохо?

— Нет, ничего, дочка, ничего. Мне сейчас даже хорошо... Видишь ли, как тебе сказать... Только ты, доченька, не плачь. Я чувствую, мне осталось немного жить. А за мной долг. Я не могу унести его с собой в могилу...

Старик пошарил рукой под подушкой и вынул партийный билет. Показал дочери.

— Вот, посмотри, кажется, за август не уплачены членские взносы.

— Да, папа, за август,— еле сдерживая слезы, ответила Сара.

— Иди, дочка, попроси нашего парторга Ахмеда. Пускай придет примет. Сам я не в состоянии к нему прийти.

— Зачем торопиться, папа? Выздоровеешь — тогда и уплатишь.

Старик горько усмехнулся:

— Нет, дочка. Мне уже не встать. Смерть настигает. А я не хочу оставить белое пятно в своем партийном би-

лете. Я коммунист, Сара. И пока сердце стучит в моей груди, я буду выполнять свой партийный долг...

Сара разрыдалась. Заплакали и другие дети.

— Что за слезы, дети мои? Я ведь еще не умер.

Дочь спрятала партийный билет под подушку и сказала:

— Ладно, папа. Сейчас я схожу за парторгом.

Она отвернулась, утерла платком глаза и направилась к двери.

— Ай, Сара, послушай еще меня... Когда я умру, чтоб ни одного раввина не было на похоронах. Никаких старых обычаев, слышишь? Никаких религиозных обрядов. Это мой наказ вам. Слышишь? Пусть меня хоронят рабочие и колхозники, коммунисты и комсомольцы. Поняла? Ты меня слышишь, дочка?

— Да, отец,— чуть слышно ответила Сара.

Секретаря партийного бюро она застала в окружении колхозников, за яростным спором.

— Это мы еще посмотрим, кто сколько винограда соберет! — кричал маленький Рамазан.

— Сам с наперсток, а шумит, как верблюд,— усмехнулся старик Эсеф.

Рамазан вспыхнул, но сдержался.

— Молчу... Молчу... Но только из уважения к вашей длинной бороде,— буркнул Рамазан.

— Вам кого, девушка? — спросил Ахмед вошедшую Сару.

— Я к вам... Мой отец у вас на партийном учете. У него не уплачены членские взносы за последний месяц. Отец тяжело болен и сам не может придти. Он очень просит вас придти к нему, если можно... Или я деньги вам принесу, если можно...

Эсеф узнал девушку:

— Да это же Сара, дочь Асаила. Как я тебя сразу не узнал, дочка? Как себя чувствует отец?

Сара заплакала.

— Хорошо, хорошо, сестра,— поспешно проговорил Ахмед.— Вы идите домой. А я сейчас следом за вами приду, только вот возьму ведомость.

— И я с тобой,— сказал старик Эсеф.

Однако, когда они пришли, Асаила уже не было в живых. Он лежал на кровати, строгий и сосредоточенный, с отрешенным от всего земного и чуть надменным лицом.

На следующий день состоялись похороны. Воздать последние почести покойному пришло много народу. За гробом, обтянутым красным кумачом, шли русские и азербайджанцы, таты и кумыки, армяне и лезгины.

На кладбище состоялся митинг. У могилы произнесли траурные речи старый товарищ Асаила Адигезал, Ахмед, Мамедов, старый Азиз и комсомолец Новруз Аббасов. Над могилой Асаила пролили прощальную слезу старики и молодые, мужчины и женщины, родные и знакомые. Все они — Адигезал и его сын Ахмед, Эсеф и его сын Ханука, председатель колхоза Мукаил и секретарь райкома Мамедов, друг юности Азиз и его сын Рахман, — склонив головы над могилой старого коммуниста, говорили:

«Мир твоему праху. Прощай, наш дорогой товарищ, друг, единомышленник...»

Стоял ненастный день. Небо заволокли густые облака, заслонив собой солнце.

— Вот так, — тихо проговорил Азиз, когда первые комья земли застучали по крышке гроба. — Асаил верно служил народу, и народ с почестями похоронил его.

— Да, брат, — подтвердил старый Эсеф. — Народ ничего не забывает — ни хорошего, ни плохого. Асаил был хорошим человеком. Он честно прожил свою жизнь, хотя и перенес много невзгод.

КОГДА СОЗРЕЛ ВИНОГРАД

В Дербенте началась уборка винограда. Машина за машиной подходили к воротам консервного комбината. Возили сначала столовый сорт агадаи. Консервный комбинат стоял недалеко от железнодорожного полотна, за переездом.

К станции подходил пассажирский поезд из Махачкалы, шлагбаум был закрыт, и машины, выстроившись длинной вереницей, ожидали, пока его снова поднимут.

Этим поездом ехал Юсупов, командированный в Дербент на уборку винограда.

Прямо с вокзала он направился в райком и здесь у подъезда лицом к лицу столкнулся с Мамедовым, которого уже поджидала машина.

— Рад вас видеть, товарищ Юсупов. Как говорится, сколько лет, сколько зим... Вы ко мне?

Юсупов улыбнулся:

— Вообще-то к вам, а в частности — на виноградники. Чуть заметная тень промелькнула на лице Мамедова.

— Тогда поехали вместе.

Машина шла по верхней дороге, рассекавшей надвое плантации. На виноградниках было малолюдно.

— Почему так мало народу работает? — спросил Юсупов.

— А потому что винограда мало, — хмуро ответил Мамедов.

Через несколько минут они вышли из машины, пересекли дувалы, огораживающие виноградники, и принялись осматривать кусты. Гроздья были редкими, ягоды мелкими.

Юсупов покачал головой.

— Агадаи, а ягоды меньше, чем у нармы... В чем же дело?

Мамедов вздохнул, глаза его сверкнули недобрый огоньком.

— Не вовремя пропололи. Не успели опрыскать. Да и вообще, — он с ожесточением махнул рукой. — Плохо подготовились к борьбе с вредителями. Председатель колхоза Мукайлов, например, вообще ухитрился уехать в Москву в самый разгар работ.

Юсупов сорвал виноградку, положил в рот и тут же выплюнул. Ягода была кислой и водянистой.

— Странно, мне он казался неплохим руководителем, заботливым и рачительным...

— Зазнался. Потерял чувство ответственности. Хорошо еще, у него бригады толковые, с искоркой и пытливым, беспокойным умом.

И Мамедов рассказал Юсупову об инициативе Рахмана и Ахмеда, предотвративших заболевание виноградников.

— Садитесь, поедem к ним.

На участке бригады Рахмана виноградники были рядовыми. Между клетками пролегли широкие дороги. По ним сновали автомашины. Они подходили близко к сборщикам, и те быстро взвешивали и грузили виноград.

— А вот и наши передовики, — показал Мамедов.

Юсупов еще издали узнал старика Азиза. Высокий, худой, в лохматой папахе и остроносых калошах, он нес на плече корзину с виноградом. В нескольких шагах от него работал Эсеф, рядом с ним — женщины, молодежь. Одни срезали гроздья винограда и укладывали в корзи-

ны, другие выносили их из клетки, ставили на весы, затем ссыпали перед сортировщиками.

— Золотые старики. Цены им нет,— проговорил Мамедов.

— Да, я их давно знаю. Могучая гвардия.

Из-за машины, груженной виноградом, вышел Рахман.

— Ва, Шими! Как хорошо, что ты здесь,— обрадовался он.

— Ну, как урожай, друзья? — спросил у колхозников Мамедов.

— Слава богу, не жалуемся,— ответил Эсеф, комкая в кулаке седую бороду.

Азиз недовольно глянул на друга.

— Если бы все бригады собрали такой урожай, юлдаш Мамедов, жить можно было бы.

Юсупов поглядел на кусты, увешанные тяжелыми гроздьями агадаи. Их было много — на каждом кусте по двадцать—тридцать гроздьев.

— Пойдемте, я покажу вам сорт аг-узум,— предложил Рахман.

Вошли в соседнюю клетку. Огромные гроздья, крупные янтарные ягоды. Все кусты подняты на шпалеры, лозы привязаны к проволоке. Ни одна гроздь не полегла, каждая ягода цела и невредима.

Юсупов нагнулся, сорвал виноградинку, попробовал.

— Замечательный аромат.

— Да ты сорви целую кисть. Попробуйте и вы, товарищ Мамедов. Винограда у нас много.

Послышался шум подъехавшей машины. Рахман оглянулся. Остановилась «Победа». Из нее вышел Мукаил. Заметив начальство, он прибавил шаг.

— Привет руководству,— весело проговорил он.— А я ездил в бригаду Рамазана.

— Ну, и как там у них,— спросил Мамедов,— хороший урожай?

Улыбка сползла с лица Мукаила.

— Не ахти. В среднем выйдет по шесть-семь тонн с гектара. А вот бригада Рахмана даст по двенадцать-четырнадцать тонн...

— Да-а-а,— недовольно протянул Мамедов.— Если бы вы пошевелили мозгами и лучше организовали дело, так всем колхозом собрали бы по двенадцать тонн. Замечаешь свои ошибки?

Мукаилу пришла на ум старая пословица: не ошибает-

ся один только господь бог. Но вслух он ее не произнес, а уклончиво ответил:

— Что поделаешь, и на солнце бывают пятна.

Мамедов покосился на него:

— Насчет пятен не возражаю. Что же касается сияния, так у вашего солнышка его явно маловато... Поедемте, товарищ Юсупов?

— Я хотел бы еще побыть тут, товарищ Мамедов.

Они попрощались.

Солнце уже село далеко за горами, когда виноградары покинули плантации и расселись по машинам.

— Слушай, Рахман, может быть, пройдемся до города пешком,— предложил Юсупов.— Зайдем по пути на кладбище. Я хочу побывать на могиле Асаила. Как ни старался, так и не сумел вырваться на его похороны.

— Ладно, пойдем.

Они шли по главной дороге, проложенной меж виноградниками. Слева высилась Джалганская гора, справа зеленели воды Каспия. Они шли не торопясь и тихо, неторопливо беседовали. Вспоминали юность, пережитые годы минувшей войны, друзей.

Могилу Асаила они нашли с трудом.

Они стояли с низко опущенными головами и вслушивались в спокойную тишину и негромкий стрекот цикад.

Рахман мягко тронул друга за плечо:

— Пошли.

До города оставалось немного. Друзья замедлили шаг, сняли пиджаки, стряхнули пыль. Неподалеку бил родник, он уже угадывался по хрустальному звону струй. Они умылись холодной ключевой водой, причесались и поспешили домой.

Вечер был тихий, теплый. Улицы Дербента утопали в зелени. За деревьями высились светло-серые корпуса жилых домов, школ. «А ведь совсем недавно здесь были пустыри,— подумал Юсупов.— Еще несколько лет — и своего родного города не узнаешь».

Вот и дом Рахмановых. Двор, сад. Он полон фруктовых деревьев, виноградных кустов, поднявшихся над головой. В прошлом году деревья были усеяны айвой и гранатом, а лозы — янтарными гроздьями агадаи, нармы, хатми и гуляби. Нынче же урожай был плохой. Если кое-где и висели гроздья, то виноград был порченным, прелым.

— Рахман,— удивился Юсупов,— почему твой вино-

град сгнил? Ты же вырастил в колхозе замечательный урожай. И на больших площадях. А тут — маленький клочок, и почти все сгнило.

Рахман виновато улыбнулся:

— Дорогой Шими, ты сам знаешь, какой был год. Колхозному урожаю угрожала опасность. Что было делать? Вот и пришлось от зари до зари пропадать на плантациях. Если бы мы отдали силы своим виноградникам, погибли бы колхозные. Так вот все и получилось.

Юсупов подошел к Рахману, крепко обнял его и расцеловал.

В это время во двор вошла Хумор.

— Что я вижу! — шутливо всплеснула она руками. — Поцелуй! Шими, ты мне вконец испортишь мужа.

— Не бойся, Хумор, — серьезно ответил Юсупов. — Твой муж слишком хорош, чтобы его можно было испортить. На твоём месте я день и ночь без усталости целовал бы его...

РАССКАЗЫ



ДОЧЬ

На пути из Дербента в Хучни немало родников с прозрачной ледяной водой. Около одного из них, в тени большого орехового дерева, остановилась легковая машина.

В машине было два пассажира. Известный в Дербенте специалист по коврам Авшай Шаулов вез своего азербайджанского коллегу Алибека Юсупова знакомиться с опытом дагестанских ковровщиц.

— Хорошо в наших горах? — спросил шофер.

Юсупов улыбнулся.

— В наших горах, говорите? А откуда вы сами?

— Родом-то я не отсюда, — смутился шофер. — Из Бабаюртовского района.

— А я как раз из этих мест, — тихо, будто про себя, произнес Юсупов.

Шаулов и шофер с любопытством посмотрели на него.

Вдали, у подножия гор, темнели каменные дома с плоскими крышами. Вокруг зеленели фруктовые сады.

— Знаете этот аул? — спросил Юсупов.

— Да, знаю, — ответил Шаулов.

— Вот там я родился и вырос.

— Что же не говорили раньше? Ведь мы едем в ваши родные места, — сказал Шаулов.

Они спустились вниз. Шаулов заметил, что Юсупов задумался.

— Поедемте через ваш аул, — предложил он. — Это чуть-чуть в сторону.

— Нет уж, — возразил Юсупов. — Едем прямо, нас ждут в ковровой артели.

— Успеем. Разве у вас никого нет в родном ауле?

Вопрос этот вернул Юсупова к мыслям, которые терзали его уже много лет. Как живые, встали перед ним черты лица его покойной матери. Вспомнился суровый 1941 год, фронт, перевернувшая все вест о смерти жены.

Он вздохнул.

— Вы хотите, чтобы я рассказал о себе? — спросил Юсупов и присел у родника. — Ну, слушайте.

... Наш аул издавна славился своими коврами. Вы об этом, конечно, знаете. Еще с детства я запомнил, как тонкие, красивые наши ковры привлекали покупателей. Наши мастерицы славились на всю округу...

Потом я подружился с девушкой, считавшейся лучшей ковровщицей в ауле. Мне было двадцать два года. Это случилось перед самой войной. Мы очень любили друг друга, и моя мать благословила меня на брак.

Юсупов закурил, помолчал немного и уже без прежнего блеска в глазах продолжал свой рассказ.

... Ее родители оказались в плену старых предрассудков. Дело в том, что когда-то наши предки были кровниками, и отец моей любимой запретил ей выходить за меня замуж. Мы долго думали, как нам быть, и, наконец, решили уйти в город. Это было в канун войны. Ее родители проклинали свою дочь, обижали мою мать, оставшуюся в ауле. Но мы с женой были счастливы.

Это продолжалось недолго. Через полгода началась война, и я очутился на фронте. Когда мы воевали под Харьковом, я получил печальную вест. Мне писали, что во время родов умерла моя жена. Она в то время возвратилась в аул и жила у своих родителей... Моя мать умерла еще раньше...

Юсупов дрожащими пальцами зажег спичку, чтобы раскурить погасшую папироску, и опять замолк, углубленный в воспоминания.

— О несчастье в моем доме написал мой друг Ахмед-Салих. Вы должны его знать. Он с детства хромал на одну ногу, и поэтому его и в армию не взяли. Не знаю, жив он сейчас или нет?

— Жив, — подтвердил Шаулов. — Я знаю Ахмед-Салиха. Он сейчас в артели завхозом.

— Так вот, вы не представляете себе, каково было мое состояние в те страшные дни. Я лежал в госпитале с тяжелым ранением, а тут еще такая тяжелая вест из

дому. Я был в отчаянии. Не стало матери, не стало любимой жены. «Жив ли хоть ребенок?» — думал я, с нетерпением ожидая подробностей от Ахмед-Салиха. И он утешил меня — написал, что ребенок жив. Это была девочка.

Как мне хотелось взглянуть на нее! Но кто знает, вернусь ли я когда-нибудь домой? Ведь война была в самом разгаре. И я решил написать все же родителям жены, людям, когда-то ненавидевшим меня. Я просил сфотографировать моего ребенка и прислать карточку мне. Война, должно быть, смела предрассудки, — рассуждал я.

И что же? Я получил ответ. Но лучше бы он не приходил. Письмо было очень коротким. Тесть сухо сообщал, что ребенка нет в живых, и добавил, что меня он проклинает, мол, я погубил его дочь...

Когда окончилась война, я оказался в Азербайджане... Юсупов замолчал. Молчали и его спутники.

— Да, — произнес Шаулов, — вот как бывает в жизни...

Молча уселись в машину. Она петляла вдоль склонов гор. Справа и слева мелькали ореховые рощи, абрикосовые сады и виноградники. Все это было знакомо Юсупову.

За поворотом показался аул. У въезда в селение гостей приветливо встретила женщина средних лет.

— Это председатель артели Асли Гамидова, — познакомил гостей Шаулов.

Ковровая мастерская расположилась в центре аула. Женщины разных возрастов и девушки в ярких широких платьях, по-кавказски подобрав под себя ноги, сидели у станков и ловко связывали узлы. Опытный глаз Юсупова задержался на большой тонкой шерсти ковра с затейливым красочным орнаментом. Гамидова с одобрением заметила, что гость заинтересовался именно этим ковром.

— Он называется у нас «гебе», — пояснила она, — и делается он по рисунку самой ковровщицы.

— Наверное, старая мастерица? — спросил Юсупов.

— Нет, совсем молодая еще, — ответила Гамидова. — Пойдемте, я познакомлю вас с нею.

Молодая ковровщица связывала последние узлы.

— Гюльзар, покажи-ка гостям свою работу, — обратилась к ней Гамидова.

Услышав это имя, Юсупов невольно вздрогнул. Его жену ведь тоже звали Гюльзар.

Девушка встала, встретила гостей поклоном и застенчиво улыбнулась. Юсупов сразу забыл о ковре. Его глаза впились в зардевшееся лицо ковровщицы, в ее выразительные карие глаза, и ему показалось, что перед ним стоит та самая Гюльзар, тоска по которой вот уже шестнадцать лет терзает его душу. Ему стало тяжело, и он с усилием отогнал мысли о прошлом.

— Где вы научились так искусно ткать ковры?— нарочито весело спросил он девушку. — Наверное, мать учила?

— У меня нет матери,— тихо ответила Гюльзар.

— Она выросла в детском доме, потом окончила ковровую школу,— пояснила Гамидова.

Глаза девушки не давали покоя Юсупову. Стараясь перебороть в себе мысль о жене, он сказал:

— Смотрю на ковер, и мне кажется, что здесь собраны все цветы мира.

Гюльзар еще больше смутилась и опустила голову.

— Способная девушка,— похвалила Гамидова.

— Пусть Гюльзар покажет свой заветный ковер,— попросил Шаулов.— Знаете,— пояснил он Юсупову,— она соткала для себя нечто совершенно необычное.

Гамидова ласково обняла девушку и спросила:

— Ну, как Гюльзар, покажешь свой ковер?

— Покажу,— прошептала Гюльзар.

Вечером гости направились к Гюльзар. Молодая ковровщица жила в небольшой комнатке в доме председателя сельсовета. К приходу гостей она приготовила чай, достала вишневое варенье и ореховую халву.

— Ты встречаешь нас как настоящая гостеприимная хозяйка,— улыбнулась Гамидова.

А Юсупов, переступив порог комнаты, застыл перед ковром, висевшим над девичьей кроватью. «Сон это или явь?» — мучительно напрягаясь, думал он. На ковре в окружении тонкого орнамента он увидел себя рядом с покойной женой.

«Сон это или явь?»

Он вспомнил небольшую фотокарточку, на которой сфотографировался с женой восемнадцать лет назад. Да, тогда он был именно таким. Сейчас он изменился и посторонний человек вряд ли узнал бы его по этой фотографии. Юсупов, не владея собой, опустил на стул.

— Что с вами? — испугалась Гамидова.

— Ничего,— тихо ответил Юсупов и повернулся к девушке.— Скажи, родная, что за люди изображены на ковре?

— Это мои родители,— потупилась Гюльзар.— Я их не видела. Мать умерла, а отец... не знаю...

Девушка сняла медальон, висевший у нее на шее, и доверчиво протянула Юсупову.

Он не мог сдержать слез. Это был медальон его жены.

— Доченька моя! — простонал он, протягивая руки.

Побледневшая Гюльзар, не отрываясь, смотрела ему в лицо.

— Папа! — прошептали ее дрожащие губы...

ПЕСНИ ГОРЯНКИ

Был прохладный осенний вечер. Над вершинами гор мерцали одинокие звезды. Наступали сумерки. На учарах¹ сидели старики в шубах и папах. Откуда-то со стороны доносилась знакомая мелодия. Пели поочередно женщина и мужчина.

— Где это поют? — спросил седобородый Гюльмамед.

Женский голос показался ему знакомым, и он насто-рожился.

— Э-эй, Гюльмамед-халу,— протянул его собеседник Селим-ага,— давно ли в этом божьем храме пел, подобно соловью, всеми уважаемый молла Муталлим-Халили. А теперь... вы сами слышите, какие голоса там раздаются, даже тошно слушать!..

Гюльмамед понял, что песня слышится из колхозного клуба, бывшего здания мечети. Но кто там поет, и почему женский голос показался ему знакомым? Старик вспомнил недавний разговор с женой. Старая Гюльсара рассказала, как колхозный парторг Абдулвагаб уговаривал невестку Латифу выступить в клубе.

— Не правда ли, плохо поют? — спросил Селим-ага.

Гюльмамед старался лучше разглядеть лицо Селим-аги, но было уже темно. И старик, задетый за живое словами собеседника, поднялся и, опираясь на палку, направился к дому. «Змея подколодная,— произнес в сердцах

¹ Место сбора сельчан.

Гюльмамед,— так и норовит ужалить...» Не любил Гюльмамед Селим-агу, не любили его и многие другие жители аула. «Этот плут может поднять нас на смех,— подумал расстроенный старик.— Не дай бог, злые языки еще наговорят на мою невесту черт знает что...» Взволнованный, он ускорил шаг.

Дома его встретил сын Аслан, только что возвратившийся с работы.

Он был в хорошем настроении. Садоводческая бригада, возглавляемая им, в этом году снимала богатый урожай плодов. Только что подвели окончательные итоги, которые обрадовали всех членов бригады. Об этом и стал рассказывать Аслан своему отцу. Но Гюльмамед плохо слушал сына. Он думал о невестке.

— Где Латифа? — спросил старик, обращаясь к жене.

— Не спрашивай меня про нее! — с раздражением ответила Гюльсара.

Сын с удивлением взглянул на мать. Он давно не видел ее такой расстроенной.

— Что случилось, мама? — спросил Аслан.— Почему ты волнуешься?

— Еще бы не волноваться,— чуть не плача ответила Гюльсара.— Да лучше бы меня горы задавили, чем такой позор принимать на свою голову...

— О каком позоре ты говоришь, мама?

— Гм... ты еще спрашиваешь,— промолвила Гюльсара.— Твоя любимая Латифа нарушила обычай наших предков. Какой грех! Да я, когда была молодой женщиной, в глаза твоему отцу не смела взглянуть, а твоя бесстыдница развлекает своими песнями весь аул. Это ли не грех?!

— Какой же это грех, мама? — спокойно произнес Аслан.— Может быть, это раньше считалось грехом, а теперь ты должна гордиться своей невесткой.

— Молчи! — крикнула Гюльсара.

— Мама, пойми, что теперь не те времена, раньше люди были темными.

В разговор вмешался Гюльмамед.

— А теперь, думаешь, все люди преобразились? — размахивая дрожащими руками, сказал он.— Не забывай: наш аул не Москва и не Махачкала. Такие шайтаны, как Селим-ага, здесь еще не перевелись.

И он удалился в другую комнату. От веселого настроения Аслана ничего не осталось. Потускнели его искрив-

шиеся глаза, потемнело лицо. Он молча накинул на себя пальто и вышел из комнаты.

— Сынок, поужинай сначала,— предложила мать.

— Спасибо, мама. Я уже сыт по горло,— ответил Аслан из-за двери.

Выйдя на улицу, Аслан медленно направился в сторону клуба. На полпути он повернул в сторону и долго колесил по узким каменистым улицам аула. Но кривая улочка все же привела его к зданию бывшей мечети. Оттуда доносилась приятная мелодия песни.

Он вспомнил свою первую встречу с Латифой у берега реки Гюльчери.

Это было два года назад, в конце лета. Аслан возвращался из города, куда он ездил на курсы бригадиров-садоводов. Сойдя с машины у развилки дороги, он направился в аул пешком. Погода была жаркая, дорога пыльная. Аслан свернул с дороги и пошел по извилистой тропинке вдоль реки. Недалеко от аула он услышал знакомую песню на слова Етима Эмина. «Какой чудесный голос!»— подумал Аслан. Он повернул к реке и увидел девушку с кувшином. Это была Латифа. Заметив его, она умолкла, застенчиво улыбнулась и ушла. А в ушах юноши еще долго продолжали звучать трогательные слова песни.

«Да, хорошо она поет,— повторил про себя Аслан, подходя к клубу.— И как же можно запретить ей петь, разве это не будет преступлением?» ... Но тут же, как кинжалом, пронзили его насмешливые слова Селим-аги, доносившиеся из-за угла.

— Вы слышите? — говорил кому-то Селим-ага.— Своего мужа оставила дома, а сама развлекает чужих мужей...

В ответ раздался хохот. Кровь закипела в жилах Аслана. Он готов был ринуться на Селим-агу, но сдержал себя и вошел в клуб.

— Латифа, тебе придется все же оставить свои песни.

— Почему, разве тебе они не нравятся?

— Нравятся, но ты сама знаешь, как относятся здесь к выступлениям женщины на сцене... Надеюсь, ты поймешь меня правильно, хотя бы потому, что я люблю тебя.

— Видно, плохо любишь...

Аслан круто повернулся и быстро ушел из клуба.

... Немило встретили дома Латифу старики. Как только

она вошла в комнату, Гюльсара отвернулась от нее, а Гюльмамед, нахмурившись, задымил трубкой. Никогда еще Латифа не видела их такими. Всегда они с ней были ласковы, хвалили, называли дочкой, а сейчас... Латифа вошла в спальню, бросилась на кровать и заплакала. Ей вспомнилась просьба колхозного парторга Абдулвагаба. «Ты знаешь, Латифа,— говорил он,— в нашем ауле девушки стесняются выступать на сцене, так как злые языки разносят всякого рода слухи. Ты коммунистка, будь добра, покажи пример, пусть увидят, как ты выступаешь, и последуют за тобою».

Латифа знала, что старики не одобряют ее участия в самодеятельности. Но она была уверена, что муж уговорит родителей. «Выходит, я ошиблась в Аслане»,— думала теперь Латифа.

Мучительной была эта ночь для молодой женщины. С тревогой и волнением перебирала она в памяти события минувшего дня. Латифа не могла сомкнуть глаз и только под утро немного вздремнула. Встала она рано. На веранде дома столкнулась со свекровью. Та враждебно посмотрела на нее, что-то пробормотала и прошла мимо. Утомившаяся, осунувшаяся за ночь Латифа быстро собралась и поспешила на работу.

Тревожно провел ночь и Аслан. Проснувшись, он не нашел жены дома, еще больше расстроился и, не позавтракав, направился в сад.

С работы Аслан вернулся раньше обычного в надежде поговорить с Латифой, но ее не оказалось дома. Уже на дворе стало темнеть, а ее все не было. «Может быть, в клубе?» — подумал Аслан и собрался туда.

Но в этот вечер участники самодеятельности не собирались.

Аслан решил пойти на молочнотоварную ферму, где работала Латифа. Дорога на ферму шла по узкому ущелью через овраги и кручи. Сильный встречный ветер чуть не сбивал с ног. Но, заметив впереди огонек дома, в котором жили колхозные доярки и откуда доносилась песня, Аслан почувствовал прилив сил, облегченно вздохнул и ускорил шаг.

Латифа пела в этот раз грустную песню о любви и разлуке. А подруги, окружив ее, с затаенным дыханием слушали. Аслан постоял у окна, пока Латифа не кончила петь, и только после этого постучался.

— Аслан? Входи! — открыла дверь Латифа.

Аслан переступил порог.

— Латифа, пойми мое положение,— отец, мать, родственники не совсем довольны тобой.

— Но я не могу отступить! — резко ответила Латифа.

С болью в сердце возвратился Аслан домой один.

Дни проходили один за другим, а Латифа не возвращалась. Пусто, холодно было без нее в доме.

Однажды вечером, возвращаясь с работы, Аслан как-то невольно пошел по дороге, что вела к клубу. Здесь он снова услышал голос Латифы. Теперь она пела не одна. Вместе с ней пели девушки с молочнотоварной фермы и ученицы средней школы.

Как потом узнал Аслан, Латифа создала хор горянок.

Да, невесело стало за последнее время в доме старого Гюльмамед. Аслан возвращался поздно, старики молча коротали вечера.

— Скучной стала наша жизнь,— сказал как-то Гюльмамед жене.

— Иди в мечеть, там поет наша Латифа, она развеселит тебя,— рассердилась старуха.

— И пойду,— ответил старик.— Если хочешь знать, я ничего плохого не вижу в ее поведении. Все это из-за людей, из-за злых языков.

Шестого ноября, после торжественного собрания, посвященного празднику Октября, Гюльмамед вышел в фойе.

— Проходите в зал,— пригласил старика какой-то парень,— сейчас хороший концерт будет.

— Спасибо, сынок,— задумчиво ответил Гюльмамед.

В зале стояла духота. Много народу собралось здесь сегодня. Присутствующие шумели, хлопали в ладоши. И вот на сцену вышел директор школы Муслим-Фатах и объявил, что концерт начинается выступлением женского хора.

Раздались аплодисменты. Открылся занавес. Перед зрителями предстала большая группа горянок.

— Песня о Родине,— объявил Муслим-Фатах,— запевает Латифа Агаева.

Услышав имя Латифы, Гюльмамед приподнял голову. Он заметил, что из дальнего угла зала радостно смотрит на жену Аслан... Голос Латифы звенел в переполненном зале. А когда окончилась песня, раздался гром аплодисментов. В антракте к Гюльмамеду подошел Селим-ага и, лукаво улынувшись, произнес:

— Слышал, Гюльмамед-халу, как поет твоя невестка!..

И тогда старик разозлился и ответил:

— Я не забыл о твоих песнях, что ты мне пел. Но сколько бы собаки ни лаяли, а караван они не остановят...

КИСТАМАН

Юсуф вошел в комнату радостно взволнованный, протянул матери небольшой сверток и сказал:

— Мама, это тебе подарок с первой полочки. Бери!

Кистаман, худенькая, смуглая женщина средних лет, удивленно взглянула на сына и дрожащими руками взяла сверток.

— Маркизет,— сказала она,— шелковый...

— Да, мама, тебе на платье.

Слезы появились на глазах у матери.

— Что ты, мама, не плачь, пожалуйста. Теперь я самостоятельный. Будем жить хорошо.

— Да, да, ты уже вырос. Ну, умывайся, будем обедать.

Когда сели за стол, Кистаман не сводила глаз с сына. Он ел, а она смотрела на его возмужавшее лицо, на крупные серо-голубые глаза и густые черные волосы.

— Теперь, мама, каждый месяц тебе буду приносить полочку. А ты распоряжайся ею. Хорошо?

— Да, сынок. Ешь. Потом будешь разговаривать.

Юсуф с аппетитом ел горячий хинкал, крепко заправленный уксусом и чесноком.

— Мама, скажи, пожалуйста, папа тоже тебе отдавал полочку? Да?

Кистаман помолчала. Слова сына застали ее врасплох. Она не могла ему ответить. Ведь Кистаман не знала и в глаза не видела отца Юсуфа. Что могла она ответить Юсуфу? С тех пор, как мальчик подрос и стал часто спрашивать об отце, Кистаман старалась внушить ему, что папа его, Якуб, ушел добровольцем на фронт и погиб, как герой. А еще позже, когда Юсуф учился в школе и Кистаман нуждалась в деньгах, мальчик спросил:

— Почему нам не дают пенсию на папу?

— Мы были зарегистрированы по шариату,— уклончиво ответила мать.

Юсуф просил показать ему фотографию отца. «Нет карточки, сынок»,— говорила Кистаман. А теперь он спрашивает, приносил ли отец получку матери. Что могла ответить Кистаман? Язык не поворачивался снова солгать.

— Мама, тебе плохо? — спросил Юсуф.— Приляг, отдохни. Я уберу со стола и пойду. Тороплюсь в школу.

— Ты иди, сынок, я сама.

Проводив сына, Кистаман развернула принесенный им подарок, прижала к груди. На душе стало легче, так была рада, что ей захотелось поделиться своим счастьем с соседками, рассказать им, какого умного мальчика она вырастила. Вдруг кто-то постучал в дверь.

— Войдите, пожалуйста.

На пороге появилась дама в шляпе и макинтоше. Увидев ее, Кистаман растерялась. Она сначала не узнала женщину и удивилась ее появлению. Но когда та поставила чемодан на пол, подошла к ней, обняла и крепко поцеловала, Кистаман ужаснулась.

— Это ты, Роза? Зачем приехала, ай аллах!

— Ты недовольна, Кистаман? — спросила женщина.— Скажи только мне, где сын? Он жив?

Не дожидаясь ответа, приезжая оглядела комнату и на маленьком столике увидела карточку юноши.

— Это он? — спросила Роза, увидев на снимке свои глаза, свой подбородок с ямочкой, свои выющиеся волосы.

— Он,— ответила Кистаман тихо.

Роза схватила карточку, прижала к лицу и расплакалась.

— Мой мальчик,— всхлипывала она, целуя карточку,— где ты? Я приехала за тобой...

— Замолчи, ради аллаха, замолчи! — взмолилась Кистаман, опускаясь на диван.

Она до того растерялась, что даже не предложила гостье раздеться и сесть. Ее мысли вернулись к тем далеким дням, когда она любила эту женщину, как родную сестру.

... Это было в тяжелые военные годы. Выросшая сиротой в далеком горном ауле, Кистаман ушла на равнину и устроилась уборщицей в школе пристанционного поселка. Молодая, приветливая девушка полюбилась коллективу. Ее окружили заботой и вниманием. По соседству с ней, в доме учителей, жила эвакуированная с Украины

молодая учительница. Не имея здесь родных, Роза нашла в Кистаман близкого себе человека. Часто, уходя на занятия, она оставляла свою маленькую дочь на попечение Кистаман, и та присматривала за ребенком не хуже родной матери. Бывало, часто соседки вместе коротали долгие зимние вечера, и учительница рассказывала много интересного молодой горянке о жизни, читала ей книги, учила грамоте, играла на гитаре.

Шло время. Кистаман стала замечать в глазах учительницы слезы и плохо скрываемую печаль.

— Роза, у тебя горе? — спросила однажды Кистаман.

— Не спрашивай. Мне сейчас жизнь не мила. Если бы не дочь, я лишила бы себя жизни.

— Что ты, Роза, не дай бог. Разве можно так?

— Ведь у меня есть муж. Я никогда не изменяла ему. Он там, на фронте, а я тут... Что будет, если он узнает? А совесть моя, совесть...

Кистаман молчала. Кто мог подумать? Такая порядочная молодая женщина, образованная, умная и вдруг...

А Роза плакала навзрыд, вспоминая ту новогоднюю ночь, когда она стала жертвой соблазна. Как теперь быть? Сделать аборт? Как, где? Родить ребенка и отдать в детприемник? Стыд, позор! Как она будет смотреть людям в глаза!

«Ах, если бы не дочка, — думала Роза, — я бы нашла выход. Не жить мне больше на белом свете... Не жить».

Кистаман долго думала и однажды сказала:

— Знаешь что, рожай ребенка, оставь его мне; а сама уезжай с богом. Ваш город уже освобожден от фашистов. Уезжай к себе домой. Только с одним условием: забудь про ребенка и больше не вспоминай о нем. Хорошо?

...И стала Кистаман матерью чужого ребенка. Трудные дни настали для нее. Роза уехала, а младенца надо было кормить молоком. Где его взять? Переехала Кистаман в совхоз, где никто ничего не знал об этой истории. Нашла женщину — кормилицу. Договорилась и стала платить ей из своего скромного заработка. А всем рассказывала, что отец ребенка недавно уехал на фронт...

И еще вспомнила Кистаман, как маленький Юсуф в двухмесячном возрасте заболел воспалением легких, как дождливой ночью, закутав его в одеяло, она, скользя по липкой грязи, еле-еле добралась до ближайшей больницы... Через полгода Юсуф заболел корью. А еще че-

рез год — свинкой. Болел скарлатиной, дифтерией... Кистаман выхаживала его, растила, лишая себя покоя, отдыха, отказывая себе в самом необходимом. Теперь юноша вырос, окончил семь классов, выучился на тракториста. А сегодня сделал ей подарок с первой своей полочки.

Кистаман поднялась с дивана, вытерла глаза, помогла гостю снять макинтош, усадила за стол.

— Скажи, Роза, зачем приехала и как ты нашла нас?

— Успокойся, Кистаман, успокойся, родная. Говорят: язык до Киева доведет. А вот зачем приехала, сама должна знать. Ведь я мать!

— А наша договоренность, а честное слово! — спросила Кистаман.

— Слово свое я не забыла. Может быть, я и не приехала бы, но ты не знаешь, как я одинока.

... Оставив новорожденного, Роза уехала в родные места. Но нашлись, оказывается, люди, которые успели сообщить на фронт старшему лейтенанту Гельману, что его жена Роза нажила в эвакуации ребенка и отдала на воспитание. Роза ничего не знала. Она занялась своим любимым делом, стала преподавать музыку и с нетерпением ждала мужа с войны. Но вернувшись с фронта, он не захотел остаться в семье, был глухим к мольбам жены. «Ради дочери прости меня», — писала позже ему Роза. Но муж требовал развода. Она долго не давала согласия, надеялась, что у него заговорит отцовское чувство и он вернется к дочери. Но Гельман был неумолим. И теперь, после долгих лет мучений, потеряв всякую надежду на возвращение мужа, Роза вынуждена была согласиться на развод.

Выросла дочь, получила образование, вышла замуж. Осталась Роза одна. О ребенке же, оставленном ею в далеком Дагестане, она никогда не забывала. Вот почему Роза неожиданно оказалась в доме Кистаман.

— Ты пойми меня, Кистаман, и не осуждай, пожалуйста, — говорила Роза, еле сдерживая слезы.

— А меня кто поймет? — вспылила Кистаман. — Ведь у меня никого нет, кроме Юсуфа. Ради него я пожертвовала своим счастьем. Разве я не могла бы выйти замуж, иметь своих детей? С ребенком никто не захотел взять меня, а бросить его я не могла. А теперь кому я нужна?

И опять заплакала. Всклипнула и Роза, обхватив руками голову.

— Ты лучше уходи, Роза. Оставь нас!

Роза прижала карточку сына к груди и, взглянув на Кистаман, сказала:

— Я понимаю тебя, Кистаман, ты замечательная, добрая женщина, ты героиня. Пошла на самопожертвование. Да. Но где он? Когда я его увижу? Только бы взглянуть краем глаза...

— Он на занятиях в вечерней школе. Скоро придет. Раз уж ты хочешь видеть, придержи. Но не дай аллах, если он узнает все, что произошло... А завтра я тебя провожу.

Немного успокоившись, Кистаман накрыла на стол, поставила чай. Роза то и дело смотрела на часы, считала минуты и секунды, глядела на дверь. Ей не терпелось.

— Попей чаю,— предложила Кистаман,— с вареньем из винограда. Сама варила.

— Спасибо, родная, мне сейчас ничего не хочется. Только бы взглянуть на него.

Уже было около десяти часов вечера, когда пришел Юсуф. Увидев незнакомую женщину в такой поздний час, он удивился.

— Здравствуйте,— поклонился Юсуф. Роза пристально посмотрела на его бронзовое от загара лицо, на сероголубые глаза и пышную шевелюру, медленно поднялась и пошла к нему. Кистаман задрожала и стала тревожно наблюдать за гостьей. «Ай аман, как бы беда не стряслась»,— мысленно произнесла она. Но Роза, ни словом не обмолвившись, обняла Юсуфа, прижала его голову к своей груди и поцеловала в лоб.

— Вот какой ты стал мужчина!

Юсуф вопросительно взглянул на Кистаман.

— Не удивляйся, сынок,— сказала Кистаман,— эта женщина подруга моей молодости. Ты ее можешь называть тетей Розой. Когда твой отец уехал на войну и я осталась с тобой, тетя Роза помогала нянчить тебя, на руках носила.

Бледная, Роза слушала Кистаман и продолжала смотреть на рослого красивого парня, такого близкого и такого далекого. Обессиленная, она опустилась на стул, закрыла лицо руками. Странное поведение гостьи удивило Юсуфа. Он сказал:

— Мама, кажется, тетя Роза чем-то расстроена.

— У нее горе, сынок,— ответила Кистаман.— Недавно потеряла мужа. А детей у нее нет. Потому она тебя и ласкает, как своего родного...

Роза подняла голову, вытерла слезы и с трудом, улыбаясь Юсуфу, ласково произнесла:

— Ну, что ты стоишь, сынок, садись с нами, Расскажи, как работаешь, учишься.

Немного посидев за столом, рассказав о своей работе, учебе, Юсуф поднялся.

— Вы меня извините,— сказал он, не сводя глаз с лица Розы,— утром надо рано вставать. На виноградниках начались осенние работы.

— Хорошо, милый, ложись спать. А если захочешь после десятилетки поступить в институт, дай мне знать. Я помогу тебе.

Кистаман испугалась. «Еще чего не хватало»,— подумала она.

— Он никуда из Дагестана не уедет,— сказала Кистаман.— Будет учиться в Махачкале.

Утром, когда Юсуф ушел на работу, Роза еще спала. Ее разбудили косые лучи осеннего солнца, которые проникли в комнату сквозь щели оконных ставен и заиграли на ее лице. Уставшая от тяжелых переживаний, ослабевшая, она с трудом поднялась с постели, оделась и вышла на улицу. Перед ее взором открылись обширные виноградные плантации, откуда доносился шум трактора.

«Это он, мой родной и далекий сын, ведет машину»,— подумала Роза.

Вскоре она вернулась в дом. Кистаман пригласила гостью к столу.

— Не сердись на меня, Роза,— сказала Кистаман.— Покушай, и я пойду на станцию провожать тебя.

— А попрощаться с ним?

— Умоляю тебя, ради аллаха, оставь его в покое.

— Ради тебя уеду. Пусть я буду страдать. Но прошу тебя: береги его, Кистаман.

Роза открыла чемодан, вынула из сумки пачку денег, протянула подруге.

— Что ты, что ты,— отошла прочь Кистаман,— за кого ты меня принимаешь!

— Кистаман, милая моя, я человек обеспеченный, одинокая, получаю большие деньги.

— Нет, нет. И мы теперь будем обеспечены. Сын мой уже работает... Лучше помогай дочери.

«Ну, ладно,— подумала Роза.— Я все равно вышлю по почте». Потом она умоляюще взглянула на Кистаман и сказала:

— Прошу тебя, дай мне его фотокарточку.

Кистаман неохотно вынула из альбома и отдала карточку. Роза оделась, взяла чемодан и медленно вышла за порог. Две женщины — одна стройная и нарядная, а другая хрупкая, маленькая, просто одетая — шли рядом по дороге на станцию и мирно разговаривали. Откуда-то доносился шум трактора. Роза то и дело отворачивалась, вытирая влажные, покрасневшие глаза...

Возвратившись домой, Кистаман застала сына скучным, задумчивым.

— Мама, скажи честно, кто эта женщина?

— Что ты, сынок, я же говорила...

Юсуф заметил, как изменилась в лице Кистаман.

— Не волнуйся, мама, — сказал он, обнимая ее, — ты самый близкий и дорогой мне человек на свете.

О ЧЕМ ГРУСТИТ ИМРАМ

Имрам на много лет старше меня и давно уже ушел на пенсию. Но это не мешает нам быть хорошими друзьями. А подружился я с ним за его веселый характер, доброту, порядочность, скромность и человечность. Когда бы мы с Имрамом ни сидели за чашкой чая или просто на лавочке в саду, он всегда шутил, рассказывал разные веселые приключения, безобидные житейские анекдоты. Имрам много прожил на свете, много повидал, во многих местах побывал, со многими людьми встречался. Он долго рыбачил на Каспии, ездил по аулам Дагестана крыть железом дома, когда-то даже переплетчиком в типографии работал.

Имрам всегда слыл веселым человеком. Каково же было мое удивление, когда я увидел недавно Имрама очень скучным, мрачным, чуть ли не плачущим. Это было ранним весенним утром. Все вокруг цвело, солнце приятно пригревало, в воздухе стоял аромат акации. Я шел на работу по бульвару, что на Ленинском проспекте, любясь весенней природой. А навстречу, опустив голову, сгорбившись, еле-еле передвигая ноги, шел приземистый худой старик с седой щетиной на лице.

— Доброе утро, ай Имрам! — окликнул я его.

Имрам поднял голову, посмотрел на меня запавшими грустными глазами.

— А, это ты, Миши, доброе утро.

— О чем задумался? — спросил я.

Он немного подумал и ответил:

— О своей смерти, вернее, о том, что будет делать бедная жена, когда я умру...

Меня удивил ответ старика. Никогда на эту тему от него слова не слышал и вдруг... Заметив мое недоумение, Имрам сказал:

— Ты меня, видимо, не так понял. Я вовсе не боюсь смерти. Да и моя жена Шово с этим давно смирилась. Все мы смертные. Вечен только один мир. Я о другом думаю.

Он оглядел бульвар, посмотрел на меня и сказал:

— Ты очень торопишься? Задержись немного, посидим на скамейке, и я тебе объясню.

Мы сели. Имрам глубоко вздохнул, закурил.

— Несколько дней назад умер мой хороший знакомый. Может быть, ты слышал, Гаврилом его звали. Жил он всегда скромно, на жалование. Бухгалтером работал. Вырастил трех дочерей и сына. Поставил всех на ноги. Сбережений у него не было. Обстановки домашней особой тоже нет в доме. Умер он своей смертью, в своей постели, и дети, как положено им, решили устроить похороны отцу. Сын знал, что после похорон с кладбища в доме соберется джамаат. Сходил в свое учреждение, попросил аванс в счет зарплаты, купил немного мяса, яиц, вина.

— Что это? — спросила мать.

— А разве ты не видишь, мама? Для поминок купил.

— Ты смеешься, сынок, — скривила она губы. — Хочешь опозорить нас!

— Почему? Может, объяснишь?

— Да потому, во-первых, глупец, что в наш дом придет из синагоги джамаат, и твое трепное мясо из магазина надо выбросить. Коширное мясо требуется. Во-вторых, кому хватит на неделю твои десять килограммов мяса?

— Я тебя не понимаю, мама: у нас свадьба или поминки? Ведь и свадьбу теперь семь дней не играют.

Разгневанная старуха Истир, всплеснув руками, крикнула:

— Да будет тебе известно, что семь дней в доме будет народу полным-полно, а потом сорок дней женщины будут ходить, оплакивать покойника. А людей надо принимать, кормить...

— Так что же ты предлагаешь, мама? — спросил он.

— Надо купить и зарезать корову, купить муку на чурек, рис на плов, много водки и яиц.

— А деньги?

— Пойди займи. Это уже твоя забота. Ты должен выполнить сыновний долг.

— Мама, — стал умолять сын, — я рабочий человек, у меня семья. Я не могу такие большие деньги занимать.

Пришел бы ты, мой друг, и увидел, какая сцена здесь разыгралась. Истир, жена покойника, распустила волосы, исцарапала изможденное побледневшее лицо, заорала нечеловеческим голосом: «Ты хочешь опозорить меня! Нас осмеют, о нас разнесут слух по всему городу...»

— Но я не могу, мама, неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю! Боже, почему ты не забрал меня вместе с Гаврилом на тот свет?

— Мама, успокойся, — попросил сын.

— Я тебе не мама. Лучше бы я породила кусок камня вместо тебя. Таких сыновей лучше не иметь. Я сама пойду занимать. Не позволю осмеять память мужа.

Что оставалось делать бедному сыну. Подчинился воле матери, побежал занимать деньги. Но мало занять деньги, надо еще купить корову, надо платить раввину за его молитвы, надо платить мясникам за разделку скота, надо платить женщинам-поварихам за стряпню.

Наступил тот день. Я стоял тогда во дворе и видел, как, засучив рукава, двое мордастых молодых мужчин снимали шкуру с коровы. Один из них, с ехидными серыми глазами и усами, похожими на усы Гитлера, говорят, недавно возвратился из заключения... К тому времени, как джамаат возвращался с кладбища, стол был накрыт. И какой стол! В одной комнате пили и ели мужчины, в другой — женщины...

Признаться, мой друг, на поминках я не могу ни есть, ни пить. Пришел я сюда ради приличия, по уговору жены... «Ты старый человек, — сказала мне Шово, — на свадьбы можешь не ходить, а на похороны обязан». Не стал я обижать старуху, пришел. Но лучше бы я с кладбища домой возвратился. На грустные размышления навело меня все, что там услышал и увидел. А послбвица гласит: «Если каждый день что-либо не услышишь или не увидишь, или оглохнешь или ослепнешь». Вот я и сижу у прохода и слышу, о чем болтают женщины. Одни соревнуются, как ашуги-импровизаторы, напевая какие-то

слова о покойнике, другие осматривают дом и обсуждают хозяев. До моего слуха дошли слова старинной поговорки: «Твое состояние разорили беки и ханы, а где же твоя честь?» Что этим хотела сказать женщина, подумал я. Но ответ дала сама же. Она говорит шепотом соседке: «Посмотри, Мелке, ничего в их доме нет. Ни мебели, ни ковров, ни телевизора. А еще бухгалтером работал. Видно, только о своем пузе думал». Так рассуждала женщина о покойнике, чью память пришла поминать. Слушал я эту женщину и думал, что же будут говорить обо мне, когда я умру? Выходит, они судят о человеке не по его делам, а по тому, как обставлена квартира, сколько мяса и водки будет на поминках. Тяжело стало у меня на душе. И я, не выдержав, спросил раввина:

— Скажи мне, раби Дарфун, обязательно это, чтобы по случаю смерти человека резали корову, пекли пышные чуреки, распивали спиртные напитки?

Изрядно опьяневший раввин потерял свою козлиную бороду и ответил:

— Нет. В святом писании об этом ничего не сказано.

— Так для чего же такую ношу взваливаете на плечи семьи покойника? — Раввин окинул меня недовольным взглядом и сердито произнес:

— Лишнего не говори, Имрам. Это воля божья и хозяина дома. Что хочет, то делает.

«О, если бы ты знал, какова была воля хозяина», — подумал я и прикусил язык. Если бы я продолжал спор, разразился бы скандал, разгневалась бы вдова покойника. Я встретился взглядом с супругой, которая сидела в соседней комнате, и с болью в душе покинул сборище.

Имрам еще раз закурил, глубоко вздыхая.

— И это, мой друг, не все. Вчера вечером на соседней с нами улице погасли фонари. Иду домой и слышу голос раби Дарфуна. Разговаривал он с одним из самых мордастых мясников, что разделявали накануне корову.

— Старуха скончалась, мир ее праху, — сказал раби, — тебе придется подсобить хозяину купить корову и разделявать.

— Я всегда готов, — ответил тот. — Дай бог больше таких событий, то есть похорон и свадеб. Всегда нам с тобой будет работа.

— Тише, — предупредил раби. — Помни: и стены имеют уши. Чего доброго! Или ты забыл недавнюю болтовню этого кафира Имрама.

Я остановился как вкопанный...

— Что с тобой, Имрам?— спросила жена, когда я приплелся домой.— На тебе лица нет.

— Немного захандрил. Старость...

— Старость, говоришь? А я хотела попросить, чтобы ты какую-нибудь работу взял, немного денег подзаработал.

— Зачем, дорогая? Я же приличную пенсию получаю. Да сын присылает тебе понемногу. Разве не хватает?

Шово мило улыбнулась маленькими карими глазами и сказала:

— Ты слышал, Имрам, что говорили женщины в доме покойного Гаврила! Сколько лет прожил на свете, а квартиру обставить не смог. Разве только о желудке надо заботиться?

— Так что же, дорогая, ты хочешь сказать?

Шово накрыла на стол, поставила ужин, подошла ко мне.

— Не сердись, дорогой. Мы с тобой старые люди. Кто знает, что с нами будет завтра. Смертные мы все. Дай бог, чтобы я раньше тебя умерла. О нас тоже будут судить, как о Гавриле. Надо бы кое-что приобрести. Опять же надо иметь кое-какие сбережения. Ведь у нас и сын не ахти какой богатый. У него семья, дети.

Я очень хорошо понял жену. Садись, говорю, покушай, оставь пока этот разговор. А сам потерял покой. Сердце заколотилось. Но внешне держал себя спокойно и стал даже шутить. Всю ночь я лежал с открытыми глазами. Вышел из дома на рассвете и вот хожу по бульвару... А ты, мой друг, спрашиваешь, о чем я задумался.

ВАРЯ

Варя спала плохо. Болели голова, ноги, а за окном ревел ветер. Хозяйка дома, старая Анаханум, услышав из соседней комнаты, как ворочается на койке девушка, тяжело вздохнув, проговорила: «Ай, аллах, какие сны снятся сейчас матери этой хорошей девушки...» Старухе показалось, что Варя стонет. Она приложила руку к уху, насторожилась. Но вместо стонов услышала рыдание ветра, доносившееся со двора.

Не смогла больше уснуть Анаханум. Она встала, накинула на себя тулуп мужа и начала топить печь.

— Анаханум, какой шайтан тебя разбудил так рано? — высунул голову из-под одеяла старый Гюльяхмед.

— Тише, — предупредила старуха, приложив палец ко рту, — молчи, Варя заболела, а в комнате холодно. Спи, старик...

— Что!? — удивился Гюльяхмед. — Заболела, говоришь, доктор заболела. Ай, ай, ай... Нехорошо...

За год, что жила Варя у стариков, Гюльяхмед привык к ней, как к родной дочери, и он тоже очень обеспокоился, когда Анаханум заговорила о ее болезни.

— Что ты хочешь делать? — спросил он жену.

— Молчи, ай киши, — ответила Анаханум, — какой ты надоедливый стал... Хочу молоко согреть Варе.

— Яхши, баркалла! — обрадовался старик и тотчас же вспомнил, как год назад недружелюбно встретила Варю Анаханум. Первое время не верила молодой медицинской работнице, особенно, когда узнала, что она будет заниматься акушерством. Женщины тогда полагались только на старую бабку Ажай. Много неприятностей пережила в первые месяцы своей работы в ауле Варя. «Да, было дело, — подумал Гюльяхмед, вспоминая минувший год, — а теперь моя старуха заботится о ней, как мать. Хорошо... Убедилась, полюбила. Не напрасно же говорят, что цыплят по осени считают». Подумав об этом с гордостью, Гюльяхмед провел ладонью по широкой снежно-белой бороде, а потом, взявшись за бок, стал подниматься с постели.

— Вай-вай-вай, — тихо простонал Гюльяхмед, — стар я уже, ты слышишь, Анаханум?

— Почему не спишь, ай киши? — спросила старуха.

— Тише, — сказал Гюльяхмед, — разбудишь Варю...

Одевшись, он вышел на улицу. Ночь была холодная, темная. Только возвышающиеся над аулом пирамиды гор белели вокруг. Их давно уже окутал толстый слой снега. Гюльяхмед побродил немного и вернулся.

— Ты видела, Анаханум, какой сегодня собачий холод, — проговорил старик, впуская вместе с собой в комнату струю холодного воздуха.

— Это потому, что кровь в твоих жилах остыла, — съязвила старуха, — сиди у печки и грейся...

Гюльяхмед хотел что-то сказать в ответ, но в это время во дворе послышались голоса:

— Ай, аллах, что будем делать!

— Не плачь, мама. Вот здесь живет доктор.

Гюльяхмед, взглянув на жену, произнес:

— Ты слышишь, Анаханум, к нам идут.

Старик насторожился, повернув голову к двери.

— Предупреди, пускай не шумят... Варя проснется,— сказала Анаханум.

Не успел старик подойти к двери, как в комнату вошли две женщины: одна молодая, раздурманившаяся на морозе, с заплаканными глазами и с поцарапанным лицом, другая—пожилая.

— Ай, аллах,—заплакала пожилая,—зачем ты обрушил свой гнев на моего единственного сына, лучше бы ты отнял душу мою, выколол глаза мои!

— Ай, Масма-баджи, что случилось?—спросила Анаханум.—Какое несчастье обрушилось на твою невинную голову?

— Доктора, ради аллаха, доктора разбудите, умирает мой Магомед.

Масма зарыдала. Она не могла больше говорить. Где стояла, там и села.

— Ай, ай, что же теперь делать,—прошептал Гюльяхмед,—ведь Варя сама больная. Слышишь, стонет...

— Да, да,—сказала Анаханум,—со вчерашнего утра жалуется на головные боли... У нее жар... Как же она пойдет...

— О горе,—зарыдала снова Масма,—умрет мой Магомед. Помогите, добрые люди...

Анаханум и Гюльяхмед посмотрели друг на друга, не зная, как быть. Но в это время дверь гостиной открылась, и оттуда вышла стройная девушка с осунувшимся бледным лицом и пышными пшеничного цвета волосами. Она уже была одета в теплое пальто и на ходу набрасывала на голову пуховый платок.

— Что случилось, мамаша, кто заболел?—спросила Варя.

— Моя жизнь—тебе, ай, джан русская сестра,—сказала вдруг молодая горянка, стоявшая у двери,—мой брат Магомед умирает, все время держится за живот, кричит «умираю». Спасай, джан Варя!

И заплакала.

— Не надо плакать, я сейчас,—сказала Варя, и Анаханум заметила, как изменился голос у ее квартирантки.

Потом, когда Варя взяла чемоданчик с медикаментами и собралась идти, Анаханум сняла с себя тулуп.

— Дочь моя, я тебя так не отпущу, возьми тулуп.

— Зачем,— сказала Варя,— я так пойду, недалеко ведь...— И вышла вслед за женщинами.

Анаханум, покосившись на мужа, сказала:

— Зачем стоишь, ай киши, бери тулуп и догоняй Варю.

Старик повиновался жене. Он быстро оделся, взял тулуп и вышел из дому. На дворе рассветало. Ветер утих. Гюльяхмед спускался по узкой, крутой и обледенелой улице аула осторожно, чтобы не упасть. Догнал он Варю, когда та уже переступала порог дома Масма-баджи и поднималась по лестнице.

Они вошли в душную, шумную комнату. На полу около печки, схватившись обеими руками за живот, извивался молодой горец. А рядом старухи, заламывая руки, громко плакали. Варя нагнулась над больным, посмотрела, потом спросила:

— Когда начал жаловаться?

— Ночью, ночью, сестра,— ответила молодая горянка.— А раньше никогда он не болел, ничем, дорогая...

— А что кушал?

В это время она оглянула комнату и увидела на столе остатки красной рыбы.

— Балык кушал,— ответила Масма,— плохой балык. Зачем кушал? Ай-ай-ай!

И снова заплакала.

— Понятно,— заметила Варя,— кипяченая вода есть?

— Есть, есть,— оживилась Масма.

Варя велела принести таз и воду.

— Пейте,— сказала она,— много пейте!

Старый Гюльяхмед неподвижно стоял у двери и с любопытством наблюдал за девушкой. «Пейте, еще пейте»,— предлагала Варя, а у самой раскалывалась голова. Она старалась не выдать себя, хотя Гюльяхмед очень хорошо видел, как горят щеки и глаза Вари. «Не девушка, а орлица»,— сказал Гюльяхмед про себя, с гордостью оглядывая свою квартирантку. Наконец, когда больному была оказана помощь, прояснилось его лицо и возвратилась к нему бодрость, он улыбнулся Варе, сказал:

— Спасибо тебе, сестра, век не забуду!

— Ну вот и хорошо! — тихо прошептала Варя и опустилась на стул.

— Дай аллах тебе здоровья, ай, джан русская сестра! — обрадовалась Масма.

— Да чтобы сто лет жизни было твоему отцу, твоему брату,— говорили Варя собравшиеся женщины.

А Варя и не слышала, что говорят женщины. В голове шумело. Она вся была охвачена огнем... Но вспомнив, что ей надо идти домой, сказала:

— Теперь я пойду. Поправляйтесь, Магомед, в другой раз будьте осторожны с красной рыбой...

— Не уходи,— попросила Масма.— Я сейчас молоко согрею тебе...

— Не надо,— ответил за Варю Гюльахмед,— у нас есть свое молоко. Ей надо идти домой...

Старик накинул тулуп на плечи Вари, и она не стала возражать. На дворе было светло, морозно. Старик и его квартирантка шли медленно вверх, по скользкой, покрытой слоем льда тропе. Идти было тяжело, а Варя вдвойне: голова кружилась, ноги подкашивались. «До дому бы дойти»,— мелькнула мысль у девушки, и она шла, напрягая последние силы. Старик двигался назад, всю дорогу вздыхал и с тревогой думал о том, кто теперь будет лечить девушку. И только они дошли до дома и перешагнули порог, обессиленная Варя опустилась на пол. Обеспокоенный Гюльахмед стал звать жену:

— Анаханум, ай, Анаханум!

На шум прибежали соседи, и женщины, дружно подняв Варю, внесли в комнату и уложили в постель. Вскоре дом старого Гюльахмеда был полон аульчан: пришли председатель колхоза Абдул-Керим, учительница Галина Матвеевна, девушки из медпункта.

— Что будем делать, ай Абдул-Керим?— спросил председатель колхоза Гюльахмед.— Ведь поблизости больше доктора нет, а до района тридцать верст...

— Позвонить надо в район,— сказал кто-то.

— Позвонить можно,— ответил Абдул-Керим, поглощенный какими-то думами,— но как сюда доберется врач? Ни одна машина сейчас не поднимется к нам...

— Я поеду,— сказал вошедший в комнату колхозный шофер Меджид...

В это время из гостиной вышла Галина Матвеевна, мрачная, подавленная. Абдул-Керим вопросительно посмотрел на нее.

— Плохо,— прошептала учительница, и Абдул-Керим заметил, как на побледневшую щеку Галины Матвеевны упала слеза. Сердце сжалось у председателя колхоза. «Ждать нельзя, надо принять меры»,— подумал он.

— Разрешите мне поехать? — спросил шофер.

— Нет, — ответил Абдул-Керим, — во-первых, ты не доедешь, во-вторых, — дорога дальняя. Когда это вы вернетесь с врачом? Надо позвонить, чтобы выслали из города самолет. Это скорее будет.

Галина Матвеевна одобрила решение председателя, и тот побежал в контору. Тем временем Галина Матвеевна и девушка из медпункта стали ухаживать за больной.

— Пусть я буду жертвой вам, дочки, — умоляла Анаханум, — у нее нет здесь ни матери, ни сестры. Будьте ей матерью и сестрой, помогите.

— Ай, Анаханум, не мешай добрым людям, иди сюда, — попросил Гюльяхмед.

— Иду, иду, ай киши, ведь больно мне, как дочь она мне. О чем думает сейчас ее бедная мать?

Анаханум вышла из комнаты, закрыв за собой дверь.

— Ты лучше согрей чаю, — сказал старик, — достань меду. Сейчас поставят банки, а потом напои ее горячим чаем.

Вернулся председатель и сообщил, что связался с районом и городом, что скоро вылетит самолет.

— Слава аллаху, — обрадовалась Анаханум. — И большой доктор придет?

— Да, придет, — ответил Абдул-Керим, — только не аллах посылает его, а министр здравоохранения Дагестана.

... Людно было в этот зимний день в доме старого Гюльяхмеда. Со всех улиц аула шли сюда горцы и горянки. «Ах, какая жалость, — говорили женщины, — почему аллах обижает хороших людей...»

— Тише, ай Анаханум, — просил Гюльяхмед, — больной нужен покой.

Говоря это своей старухе, Гюльяхмед намекал гостям, чтобы не шумели, не беспокоили больную. Некоторое время в доме было тихо. И вдруг послышался шум мотора. Первым выбежал из комнаты Меджиди, тут же возвратившись, восторженно крикнул:

— Вертолет над аулом!

— Прилетели, — легко вздохнул председатель колхоза, направляясь к месту посадки вертолета.

Вскоре прилетевший из города врач осмотрел больную. К тому времени Варя уже открыла глаза и попеременно звала то мать свою, то хозяйку дома Анаханум.

— Анаханум твоя жертва,— со слезами на глазах отвечала старуха.

А когда больную закутали, положили на носилки и понесли к вертолету, Анаханум так громко заплакала, будто от нее отобрали самого близкого, родного человека.

— Хватит тебе, джан Анаханум, она скоро вернется,— попытался успокоить жену старик, и Анаханум заметила, как часто заморгал Гюльяхмед, пытаясь скрыть навертывающиеся на глаза слезы.

МАРЖАНАТ

Маржанат Омарова, молодая женщина с длинными черными косами, продолговатым лицом и пышными бровями рассматривала в зеркале свою прическу. Ее пятилетний мальчик Закир сидел на подоконнике, прислушивался к шуму бурной реки, протекающей по глубокому ущелью, смотрел в даль.

За рекой, на пологих склонах гор, раскинулись картофельные поля. Увидев группу женщин, работающих на пополке, мальчик спрыгнул на пол.

— Мама, почему все тетеньки в поле, а ты дома?— спросил Закир.

Маржанат вздрогнула. Она отвернулась от зеркала и недовольно посмотрела на сына.

— Не твое дело, иди умывайся!— раздраженно крикнула она.

Мальчик взглянул на мать удивленными глазами и высочил из комнаты. Маржанат, поправляя прическу, подумала: «Еще этого не хватало, ребенок упрекает!».

Закончив туалет, Маржанат подошла к аккуратно заправленной кровати, над которой висел портрет мужа. «Абакар, Абакар,— проговорила она, рассматривая портрет,— долго ли придется мне страдать. И все из-за тебя; из любви к тебе. Говорила: не соглашайся ехать председателем колхоза, нам и в городе хорошо. Нет, не послушался. Я понимаю, почет, слава... Тебе-то хорошо, ты председатель, знай только указывать да требовать. А мне как быть? Взять в руки мотыгу и полоть картофель? Или вернуться к прошлому — пойти на ферму доить коров? Может быть, так и придется сделать?..»

Десять лет назад, работая дояркой в этом же ауле,

Маржанат впервые встретила Абакара. Он был тогда в офицерской шинели, артиллерийской фуражке и новых, хромовых сапогах. Демобилизованный из рядов Советской Армии, Омаров выделялся среди сверстников своим опрятным видом, был вежлив в обращении с людьми, остроумен и привлекал внимание девушек. Когда после нескольких встреч Абакар сделал предложение Маржанат, она, смущаясь, ответила согласием.

Вскоре в ауле была сыграна свадьба, и молодожены уехали в город.

Нелегко было Маржанат расставаться с домом, в котором она родилась и прожила двадцать лет, с любимой матерью Хадижат, с партийной организацией, недавно принявшей Маржанат в свои ряды. «Не грусти, дочь моя,— успокаивала Хадижат,— не ты первая, не ты последняя покидаешь отчий дом. Не напрасно говорят в народе: «Дочь в доме родителей — гостья».

В городе Маржанат понемногу привыкла к новой обстановке. Вначале было трудно. Абакар, работавший инструктором горкома партии, рано уходил из дому и поздно возвращался. Молодая женщина то целыми днями стояла у окна, то читала газеты и книги. Со временем Маржанат подружилась с соседками, стала общаться с ними и постепенно забывала про свой аул. Вскоре ей даже понравилась городская жизнь.

На партийном учете Маржанат состояла в одной из учрежденческих организаций и бывала там два раза в месяц—на очередном собрании и при уплате членских взносов. Так проходили дни, месяцы, годы. Маржанат, став матерью двух сыновей, целиком посвятила себя их воспитанию.

Теперь, через десять лет, когда Абакар Омаров вместе с женой и сыновьями возвратился в родной колхоз, многие земляки даже не узнавали Маржанат. Родственники и соседи, слушая ее рассказы о городе, не могли не заметить пренебрежения к аульской жизни.

— Как плохо здесь у вас,— говорила Маржанат,— я уже начинаю скучать...

Заметил перемену в Маржанат и Абакар. Но, поглощенный работой, он все забывал поговорить с ней. Колхоз был отстающий, но перспективный. Он располагал большими земельными угодиями.

Через селение протекала многоводная река, способная оросить большие площади садов и огородов. За кол-

хозом были закреплены обширные массивы летних и зимних пастбищ, где можно разместить много тысяч овец. Только рабочих рук не хватало. Вернее они были, но неправильно использовались. Еще плохо было с трудовой дисциплиной. Занятый работой, Абакар редко видел жену и еще реже с ней разговаривал. По утрам, едва рассветало, Омаров уходил из дому. А возвращался он поздно.

Но в тот день, когда маленький Закир сделал матери замечание, Омаров пришел домой против ожидания Маржанат необычно рано.

— А я и не успела еще обед приготовить,— сказала Маржанат, виновато посмотрев на бронзовое от загара лицо Абакара.

— Ничего, Маржанат, это не беда,— спокойно ответил Омаров,— беда в другом, сегодня мне снова досталось от Ибрагима. Говорит: «Несколько раз просил Маржанат прийти на семинар агитаторов, она не идет. А еще жена председателя колхоза».

Маржанат вскипела.

— Что это он все упрекает меня,— «жена председателя!». При чем тут председатель. Я не могу, ты понимаешь, Абакар, не могу! Никогда не была агитатором и вдруг...

— Маржанат,— перебил ее Абакар,— газеты ты читать умеешь?

— Ну так что же?

— Возьмешь газеты, сходишь в бригаду и прочитаешь людям. Ведь это не тяжело...

Маржанат глубоко вздохнула и, заметив у двери детей, крикнула:

— Идите в ту комнату!

Потом она посмотрела на уставшее лицо мужа, и ей стало жалко этого человека — сильного, энергичного, неутомимого. Маржанат решила на следующий день сходить к секретарю партийной организации.

Когда она пришла в партбюро, Ибрагим встретил ее ласково.

— Ну вот и хорошо,— обрадовался он.— Ряды нашего актива растут.

— Это я ради Абакара пришла,— сказала она.

— Зря вы так, Маржанат,— заметил Ибрагим,— о партийном долге своем не следовало бы забывать.

Маржанат промолчала.

— Что, не нравится? — спросил секретарь партийной организации.

— Я устала, — уклонилась от ответа Маржанат, — скажите, где мне провести читку.

— Еще не начала работать, а уже устала. Да-а, я другого мнения был о вас, Маржанат...

Сильней всего на Маржанат действовали эти замечания Ибрагима.

Она больше не стала спорить с секретарем парторганизации, а попросила лишь проинструктировать ее. Получив газеты, она поспешила домой.

В бригаду для проведения читки Маржанат пришла на следующий день. Время было обеденное, и колхозники расположились на отдых в тени грушевых деревьев, на берегу реки. Маржанат была одета по-летнему. На ней было платье из набивного шелкового маркизета, на голове красно-синяя косынка, а обута она была в красные босоножки-танкетки.

Не все колхозники сразу узнали, кто к ним пришел.

— Да разве вы не видите, — сказала Хадижат, — это же моя Маржанат.

— Маржанат! — с удивлением повторили женщины.

— Милая, ты не на свадьбу пришла, а в поле, картофель полоть, — заметила мать, когда Маржанат подошла близко и поздоровалась, — пожалей платье, ведь за него Абакар деньги платил.

«Что я, разве пришла полоть?» — подумала Маржанат. А слова матери больно задела ее. «Мама...» — хотела она что-то сказать, но, заметив насмешливый взгляд девушек и услышав их приглушенный смех, воздержалась. Она поняла, что девушки смеются над ней. Тяжело стало на душе. «Нет, ничего у меня не получится», — подумала Маржанат и, больше не сказав ни слова, повернулась и поспешила домой.

— Дочь моя, куда ты? — крикнула вдогонку мать.

— Платье менять, — пошутил кто-то.

Маржанат на секунду остановилась, но, подумав, пошла еще скорей. Слезы подступали к горлу, она ругала Абакара и Ибрагима. «Какой из меня агитатор, я стала посмешищем».

Придя домой, она уткнулась в подушку и заплакала, как ребенок. Перед ее взором встали лица тех, с кем она сегодня встретилась в поле. Ей казалось, что все они смотрят на нее с презрением. Вновь и вновь набегали

слезы. Наконец, немного успокоившись, Маржанат незаметно заснула.

Ее разбудили дети, возвратившиеся из детского сада. «Что со мной? — подумала Маржанат, вставая с постели и увидев на себе помятое платье. — Нет, больше так не будет. Вы еще узнаете меня!».

Вспомнив, что скоро Абакар придет домой, она быстро переоделась, привела себя в порядок и взялась за приготовление ужина. Но раньше Абакара пришла старая Хадижат. Это было уже поздно вечером, когда над аулом спустились сумерки. Медленно поднимаясь по каменной лестнице, Хадижат говорила: «Лучше бы я сквозь землю провалилась!» Услышав голос матери, Маржанат вышла ей навстречу, поддержала за руку и привела в комнату.

— Смотри мне в лицо и скажи, что все это значит? — спросила Хадижат, садясь на пол, застланный пестрым ковром.

— Ничего, мама, не спрашивай, больше этого не будет, — ответила Маржанат.

— А наша мама плакала, — сказал вдруг маленький Закир.

Маржанат бросила на детей строгий взгляд, и они скрылись за дверью. Старуха долго не успокаивалась.

— Ты знаешь, дочь моя, еще не было в нашем ауле случая, чтобы кто-нибудь указывал пальцем на меня, на брата твоего, Абдурахмана, на нашу невестку Патимат, или на кого другого из нашей семьи, — сказала Хадижат. — И вдруг на старости лет я сделалась посмешищем. Да лучше бы сквозь землю провалиться!

— Мама, успокойся...

В это время во дворе слышались мужские голоса. Громко разговаривая, по лестнице поднимались Абакар и Ибрагим.

— Это ты хорошо придумал, Абакар, ввести ежемесячное авансирование, — говорил Ибрагим. — Как ни говори, брат, материальная обеспеченность многое решает.

Они вошли в комнату, поздоровались.

— Ну, как прошла читка? — спросил Ибрагим, взглянув на Маржанат.

— Никак, — ответила она и помрачнела.

Мужчины переглянулись. А Хадижат рассказала им, что произошло сегодня в бригаде. Тем временем Мар-

жанат стала накрывать на стол. Абакар и Ибрагим сидели молча. Наконец Абакар не выдержал:

— Позор!

— Она белоручка у тебя, Абакар,— заметил Ибрагим.— Пусть пойдет на ферму да покажет, как умеет жена председателя доить коров.

— Что ж, и пойду, и покажу,— решительно сказала Маржанат.

Абакар и Ибрагим встретились глазами.

— Но, а как же дом, дети? — спросил Абакар.

Маржанат посмотрела на мужа, на Ибрагима и, улыбаясь, проговорила:

— Как у всех колхозников, так и у нас.

СОДЕРЖАНИЕ

У стен Нарын-Калы. Роман	7
------------------------------------	---

Рассказы

Дочь	173
Песни горянки	177
Кистаман	182
О чем грустит Ибрам	188
Варя	192
Маржанат	198

Бахшиев Миши

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ

Редактор Н. Шалбузова. Художник Л. Брузгин.
Художествен. редактор В. Логачев. Техн. редактор
М. Тищенко. Корректор Т. Садиян.

Сдано в набор 22/08 1979 г. Подписано в печать
17/01 1980 г. Форм. 84×108¹/₃₂ Бумага типогр. № 3.
Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 10,71 Уч.-изд. л. 10,65. Тираж 2000.
Цена 80 к. Зак. 509.

Дагестанское книжное издательство Управления по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Совета Министров ДАССР. Махачкала, ул. Маркова, 55.

Типография им. С. М. Кирова Управления по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли Совета
Министров ДАССР. Махачкала, ул. Маркова, 51.

80 коп.

МАХАЧКАЛА 1979